

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ



СТЕКЛОДУВ*

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Он оставил машину с шофером на заснеженной Бронной. Пешком, наслаждаясь блеском и красотой вечерней Москвы, стал спускаться по Тверской вниз, повторяя путь, который столько раз за долгую жизнь совершал среди этих фасадов. Оставаясь каменными, неизменными, со своими арками, лепными украшениями и мемориальными досками, они, словно недвижимые берега, наполнялись струящейся, в вечных переливах рекой, по которой уносились его воспоминания. Всё в одну сторону, вниз, от туманного Пушкина с живой, брошенной в снег розой, к янтарно-белому Манежу и розовым башням с высокими, в рубиновом зареве звездами. Когда-то мама, держа его детскую руку, хотела перейти просторную полупустую улицу. Навстречу, едва их не сбив, промчался черный, на белых шинах, лакированный “ЗИС”. За стеклом лимонно-желтое, недовольное, промелькнуло лицо Молотова. Здесь же, школьником, он шагал в весенней первомайской толпе среди флагов, шаров, транспарантов, держа за древко красный флажок, и на площади, среди ликующих возгласов, восхищенных лиц, увидел на мгновение розовый кристалл мавзолея. Далеко, в кителе и фуражке — Сталин. Сказочное видение, пронесенное сквозь целую жизнь. Юношей, стоя на тро-

ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов “Чеченский блюз”, “Красно-коричневый”, “Идущие в ночи”, “Господин Гексоген”, “Крейсерова соната”. Живет в Москве

* Журнальный вариант.

туаре, смотрел, как мимо, в грохоте, в дрожании земли, шли на парад танки, — бугры и уступы зеленой брони, стоящие в люках танкисты, едкая синяя гарь, и когда стальная волна прокатилась мимо витрин и окон, на асфальте — седая насечка, запах гудрона и стали. С девушками, — каждый год разные, с полузабытыми лицами, полузабытым смехом, запахом и цветом волос, гуляли, забредая в кафе, и он смотрел, как бегут за окном автомобили, и сквозь тонкую трубочку близкие женские губы всасывают сладкую струйку коктейля.

Теперь он шел по Тверской, по свежему, бело-синему снегу, рассеянно любуясь праздно толпой. Нескончаемо лился глянцеви́тый поток автомобилей, из которых, у дверей ресторанов и ночных клубов, выходили молодые, красиво одетые люди. То просияет серебристой синевой соболинный воротник, то из распахнутой шубы сочно брызнет шелковый галстук. Как алмазный водопад, низвергались вниз белые лучистые огни. Вверх, навстречу поднимались нескончаемые рубиновые сгустки. Его глаза ликовали, наслаждаясь янтарными витринами, полыхавшими вывесками и рекламами, под которыми снег трепетал фиолетовым, алым, зеленым. Дома, озаренные магическим светом голубоватых и золотистых светильников, казались ледяными дворцами, воздушными замками, в волшебных переливах, таинственных излучениях. Город был дивно красив, сказочно великолепен, и казалось, в нем идет вечный праздник, собраны неземные богатства, и жить в этом городе было упоительным счастьем.

Он проходил мимо тяжеловесного помпезного здания, облицованного грубым гранитом. В складках гранита лежал снег. Черная липа была усыпана драгоценной огненной каплей, словно райское дерево. Центральный телеграф казался космическим кораблем, в его глазнице медленно вращалось голубое мистическое око. Клубилась у театра толпа. Сверкали хрусталами и самоцветами дорогие отели. Автомобильный поток соскальзывал к площади, загибался, ускользал за огромный черный уступ Государственной думы, в фасад которой угрюмо и незыблемо, словно на скальное изображение, был врезан герб СССР.

Среди гранита, в темном монолите дома, сияла прозрачная витрина. Ювелирный магазин, спрятанный в каменную толщу, приоткрывал свои чудесные сокровища, манил толпу россыпями драгоценных камней, золотыми ожерельями и браслетами. В витрине восседала женщина, вся в бриллиантах, то ли статуя, то ли заколдованная царица, очарованная хранительница несметных богатств. Тонкое лицо, обнаженная шея и руки были бархатно-черные, словно она явилась с берегов Нила или Ганга, принадлежала к слову жриц. Волосы ее были цвета платины, чуть голубые, — признак таинственной расы. Быть может, той, что некогда населяла землю и покинула ее по неизвестным причинам, оставив занесенные песками города, заросшие джунглями храмы, покрытые льдами и морскими водами капища.

Он остановился перед витриной, чувствуя зрачками волшебную силу недоступной женщины, спящей в хрустальном саркофаге с открытыми глазами. Она казалась ему странно знакомой. Словно он где-то ее встречал, она являлась ему мимолетно. Мелькнула среди других и была забыта, чтобы вдруг возникнуть через много лет на Тверской. Быть может, он видел ее на рауте в Вашингтоне, среди офицеров американской военно-морской разведки, — игривый бокал с шампанским подносила к фиолетовым губам. Или на рынке в Равалпинди, среди разноцветных огоньков и лампадок, когда быстро темнело, в небе дышало аметистовое вечернее облако, уныло кричал муэдзин, и она грациозно прошла, задев его белой накидкой. Или стояла на берегу Меконга, среди разгромленных статуй буддийского монастыря, и он проплывал мимо на военном катере, залюбовавшись ее смутным лицом. Или она была женщиной его сновидений, если вся его долгая жизнь была сном, и этот сказочный город, и дерево в драгоценных гирляндах, и глобус в синей глазнице, и видение Сталина, — все это длящийся сон, предполагающий скорое пробуждение.

Он смотрел на женщину, испытывая к ней влечение. К ее прекрасному темному лику с открытыми, без зрачков, как у каменных статуй, глазами.

К обнаженной высокой шее, на которой переливалось бриллиантовое кольцо, вспыхивающее разноцветно при малейшем движении зрачков. К ее оборотистым гибким рукам с тонкими запястьями, на которых сверкали лучистые камни, и хотелось коснуться губами ее хрупких пальцев, целовать узкую ладонь, теплую жилку, скрытую драгоценным браслетом, чувствуя сияющий холод и блеск камней. Он приближал к витрине лицо, мысленно целуя полуоткрытую грудь, угадывая под шелковым платьем ее длинную шелковистую форму и малиновый сосок. Ему хотелось взять в руки тонкую шиколотку и, целуя колени, скользить ладонями вверх по гладкой темной ноге, чувствуя, как она наливается силой, начинает трепетать. Глаза его были жадно раскрыты, восхитались бриллиантами, которые брызгали цветными лучами. Казалось, женщина пробуждается, начинает чуть слышно дышать, слабо улыбается, и они, разделенные стеклом, приближают друг к другу лица. Это напоминало сон, соитие во сне, сладкое вождление, которое он никогда не испытывал. Он утолял это вождление ненасытным созерцанием, дрожанием зрачков, в которых страстно переливались бриллианты.

Вдруг почувствовал бесшумный толчок. Затмение в левом глазу. Будто перед глазом опустили темную шторку, и бриллианты, которые он созерцал, погасли. Перед другим глазом он продолжали лучиться, сыпать разноцветные искры, переливаться стоцветной росой. Он закрыл этот глаз ладонью, наступила полная тьма. Только слышался шорох машин, женский смех, пролетело душистое облачко табака. Убрал ладонь, — темноликая женщина отодвинулась вглубь витрины, сидела отстраненно, как изваяние, равнодушно демонстрировала бриллианты.

Он понимал, что ослеп на один глаз. Слепота наступила мгновенно и безболезненно, будто у него изъяли из глазницы око, наполнив полость мягким непрозрачным составом. Это не испугало, а удивило его. Удар, который он испытал, последовал с высоты, из мглистого московского неба, и явился ответом на его вождление, на его жадное созерцание. Будто кто-то запрещал ему прелюбодейство, наказывал за соитие с целомудренной жрицей. Он отвел от витрины зрячий глаз, все еще сберегая в нем пленительный женский образ. Испугался, что померкнет и этот глаз, не желавший расставаться с запретным зрелищем. Отошел от витрины, надеясь, что, удалившись с места грехопадения, вновь обретет зрение.

Вдоль переносицы проходила вертикаль, и все, что было левее этой вертикали, оставалось объатым тьмой. Правая же сторона была полна блестящих автомобилей, свежего снега. Переливалось райское дерево. Проходившие мимо мужчина и женщина целовались.

Это было знамением. Было посланием свыше, которое он не мог разгадать. Было словом, безмолвно и властно к нему обращенным, и это слово погасило его око. Внезапность случившегося вызывала в нем ощущение, что кто-то, безмянный, долго и терпеливо наблюдал за ним, — не день и не два, а, быть может, целую жизнь, терпел то, как он проживал эту жизнь, и, наконец, не стерпев, послал ему гневный знак.

Так объяснял внезапное свое ослепление Петр Андреевич Суздальцев, стоя на Тверской, под черной, увитой гирляндами липой, словно под древом познания Добра и Зла. Всмотривался слепо в загоревшиеся кнопки мобильного телефона, звонил шоферу, вызывая машину.

Он явился в военную клинику к врачу-офтальмологу, заметив выражение равнодушной любезности на его длинном смуглом лице. Веки у врача были пятнистые, розовые, словно после ожога. В потухших глазах пациентов кипела тьма, брызгала в глаза офтальмолога раскаленными брызгами. Врач, оснастив свой лоб окуляром, зажег портативный фонарик с раскаленным лучом. Луч сверкнул по здоровому глазу, ушел в глубину пораженного ока, рассыпался на мельчайшие искры, окружавшие черную тьму. Слово луч разбился о преграду, превратился в мельчайшую пыль. Офтальмолог убрал луч, снял со лба окуляры, и Суздальцев заметил, что на лице его появилось почти испуганное выражение, и пятна на веках порозовели, словно это был ожог тьмы.

- Вы переносили когда-нибудь сотрясение мозга?
- Контузило в Афганистане.
- Не болели гепатитом?
- Было дело. После работы в Анголе.
- Не страдали серьезными инфекционными заболеваниями?
- Тропическая малярия, после Никарагуа. Меня лечили по кубинской методике, ударными порциями антибиотиков.
- Испытывали в настоящее время сильные стрессы?
- Доктор, мы все испытываем сегодня непрерывный стресс.
- Пересядьте, пожалуйста, в это кресло.

Суздальцев занял место перед оптическим прибором с двумя застекленными трубками. Его голову поместили в стальной капкан, — лоб охватывал обруч, подбородок упирался в плотную лунку. Врач снова водил лучом, направлял его под разными углами в глубину померкшего глаза, будто исследовал глухую пещеру, стараясь разглядеть наскальные рисунки. Луч превращался в легкую пыльцу, окружавшую темноту. Второй, зрячий глаз, содрогался от вторжения раскаленной иглы, будто она выжигала большой иероглиф, и в этом иероглифе чудилась бриллиантовая женщина, россыпи камней на смуглой груди.

— Положение очень серьезное, — произнес офтальмолог голосом, в котором слышались сострадающие, печальные нотки. — Вы перенесли инфаркт глаза. Кровоизлияние, разрыв артерии, паралич глазного нерва. У вас в глазу, если так можно выразиться, кровавый кисель. Под угрозой — второй глаз. Вам необходима немедленная госпитализация.

Пока врач писал направление в госпиталь, Суздальцев, не пугаясь, ощущая неизбежность и предопределенность случившегося, старался представить свое око как флакон, наполненный малиновой жидкостью. Бесшумная пуля попала в глазницу, взорвалась бриллиантовой вспышкой, превратила драгоценный сосуд в кровавый сгусток, во вместилище тьмы.

Машина отвезла его в госпиталь, и он покорно и терпеливо передал себя в руки врачей. Без тени испуга, без надежды на исцеление готовился к полной слепоте. Воспринимал ее не как внезапное несчастье, а как таинственное послание Того, Кто до этого распахивал перед ним бесконечные зрелища мира, открывал фантастические картины бытия, принуждая их созерцать. Повинуясь приказу свыше, он мчался с широко распахнутыми глазами навстречу зрелищам, стараясь их понять и запомнить, покуда их не убрали, как убирают с мольберта картины великих мастеров, опускают на окна темные шторы.

Его поместили в отдельную палату, и его дни делились на две половины, — утреннюю, когда он подвергался многочисленным процедурам, и послеобеденную, когда врачи отступали, и он был предоставлен себе самому.

Утром ему делали несколько уколов — в мышцу, безболезненные, словно укус комара, и в глаз, когда тончайшее острое больно впивалось под глазное яблоко, и в жидкий кровоподтек впрыскивалась целебная сыворотка. Его пропускали сквозь сложный конвейер оптических приборов, когда в глаз, раздвигая веки и не давая моргать, вставлялась трубка, и врачи, сменяя друг друга, вонзали лучи, стреляли легчайшими сгустками воздуха, заставляли наблюдать движение зеленоватой корпускулы, воздействовали на пораженные ткани подобием солнечных лучей, побуждая глаз откликнуться на солнечный свет. Ему вбрызгивали в вену красящее вещество, оно проникало в сосуды глаза и, подвергаясь рентгеновскому облучению, обнаруживало картину разрушения. “Сосудистую катастрофу”, — как говорили врачи. Он рассматривал цветную компьютерную фотографию пораженного глаза, и она была похожа на аэрофотосъемку темного озера, в которое впадает множество ветвящихся ручьев и речек. Образ его слепоты, снятой из космоса.

Ему представлялась вареная голова семги с приоткрытым зубастым ртом и серебряными пластинами жабер и то, как он вычерпывал из рыбьей башки темно-золотой глаз. Вареное рыбье око лежало в ложке с желтоватым белком и тускло-остекленелым зрачком. Еще он вспоминал убитого в пустыне Регистан вертолетчика, которому в голову попала пуля крупнокалиберно-

го пулемета. Одна половина лица была срезана до кости, а из другой свисал на кровавых нитях огромный бело-желтый глаз.

Его подвергали лазерному воздействию. Сестра закапывала в глаз препарат, расширяющий зрачки, и когда она над ним наклонялась, он чувствовал щекой ее мягкую грудь. Врач с короткой седоватой стрижкой и жестким лицом снайпера всаживал в пораженный глаз разящие очереди, пробивая крохотные отверстия, сквозь которые должна была уйти кровавая жидкость. Каждый удар лазера сопровождался шипящим звуком, попадание отмечалось светящейся робкой пыльцой, напоминавшей далекий, гаснущий фейерверк. Зато второе, зрячее око пугалось солнечной огненной вспышки, которая наполняла глаз невыносимым светом, расплавленной белой плазмой. Лишенный возможности моргать, с широко раскрытыми веками, глаз ужасался вторжению слепящего света. И это странно напомнило ему солнце Герата, когда он поднимался на вершину каменной башни, где был расположен командный пункт. Предстояла массированная бомбардировка города, и кто-то немой и грозный направлял из небес бесшумные слепящие вспышки, то ли запрещая ему смотреть, то ли, напротив, безмолвно принуждая: “Смотри”!

Оказавшись в палате, он принимал телефонные звонки от бывшей жены, пожелавшей его навестить. От детей, которые волновались за него и просили позволения прийти. От немногочисленных друзей, прослышавших о его несчастье. Он всем отказывал, отшучивался: “Я теперь одноглазое Лихо”. “Одноглазый циклоп Полифем”. Предпочитал одиночество, чувствуя, что ему предстоит новый, быть может, завершающий период жизни, и нужно к нему подготовиться.

Он смотрел на себя в зеркало оставшимся зрячим глазом. Словно перед наступившей слепотой хотел себя запомнить. Пепельно-бледное, в металлических морщинах и складках лицо. Узкие, тесно сжатые, с тайной насмешкой губы. Упрямый лоб, на котором насечками нанесены все его победы и поражения. Худая, с жилами и колючим кадыком шея. Под хмурыми бровями — настороженные, недоверчивые серые глаза, один из которых поражен прямым попаданием, а другой уже захвачен в тончайшую сетку прицела.

Грядущее сгушалось, как сумерки, готовые перейти в непроглядную ночь. Это не пугало его, но сулило новые переживания, ощущение новой, поставленной перед ним задачи. Тот, Кто поставил перед ним очередную задачу, не был руководителем военной разведки, из тех, что в разные годы отправляли его на воюющие континенты с требованием доставить в Центр уникальную военную или политическую информацию. Этот верховный руководитель был Тем, Кто создал его из крохотного пузырька протоплазмы, сотворил из него человека, выпустил в жизнь, поручив добывать в этой жизни, от рожденья до смерти, таинственные знания о бытии, добываясь прозрения среди затмевающих разум земных катастроф. Потеря зрения была не злополучным событием, не болезнью, а необходимым условием для того, чтобы увидеть прожитую жизнь иными глазами, обрашенными внутрь. Угасание внешнего зрения сулило раскрытие сокровенных внутренних очей, которыми он сможет увидеть Создателя. Стоя перед ним, отчитаться за прожитую жизнь, высыпать ему в ладонь ничтожные крохи знаний, которые ему удалось собрать. И Создатель рассмотрит эти маковые росинки и сдует их с ладони за ненадобностью. Или пересыплет в драгоценный ларец, где собраны крупицы опыта, доставляемые испокон веков другими разведчиками.

Он ложился на кровать, закрывал глаза и старался заглянуть вглубь души, ожидая, что откроются внутренние очи, и он узрит небывалые, невиданные прежде картины. Но внутреннее зрение лишь повторяло внешнее. Виделась все та же сухая саванна Мозамбика, заминированная пустошь “аэродрома подскока”, и крохотный, похожий на стрекозу самолет приземляется, блестя винтом. Душная никарагуанская сельва в горячих болотах, и он раздвигает грудью липкую тину, неся на плече ствол миномета.

Внутренние очи оставались запечатанными. А внешние подвергались воздействию оптических приборов, лучей, лазерных вспышек, которые были бессильны перед Тем, Кто затмил ему зрение. Взял в невидимую длань его прозрачный, вдоволь насмотревшийся глаз, стиснул, пропуская сквозь паль-

цы стеклянную влагу, и лишь сверкнул в пустоте серебряный крестик штурмовика, наносящего удар по Герату.

Он вернулся из клиники домой, сосредоточенный и спокойный, позволяя ухаживать за собой приезжающим детям. Смотрел, как розовеет в вечернем воздухе зимняя Москва, словно прощался с нею. Видел, как начинает льдисто мерцать высотное здание на площади Восстания, похожее на голубую, высеченную из льда скульптуру. Прощался с оттенками розового, золотого, зеленого. Чутко ждал, когда к нему явится Тот, Кто позволял ему напоследок налюбоваться на этот мир.

На его столе красовалась небольшая ваза из синего стекла, прозрачная, рукотворная, с вкраплением пузырьков, с хрупкими стеклянными нитями, оставшимися от трубочки стеклодува. Это было знаменитое гератское стекло с особыми переливами лазури, оттенками зелени и морской синевы, возникшими от добавлений в расплавленное стекло горных изумрудов и лазуритов. Среди шатров и дуканов гератского рынка, среди черной, как вар, толпы была мастерская стеклодува. Бесцветным пламенем сиял раскаленный тигель. Плескалась вялая жидкость стекла. Краснолицый стеклодув наматывал на длинную трубку прозрачный шар света. Дул в него, расширяя щеки и выпучивая фиолетовые глаза, словно играл на флейте. Шар расширялся, из белого превращался в алый. Начиная темнеть, зеленеть. Мастер ударом ножа откалывал хрустальную пуповинку. И ваза, окруженная лазурным сиянием, остывала на верстаке, словно крохотная, спустившаяся из неба планета.

Суздальцев ощупывал вазу пальцами, чувствуя ее хрупкость и колкость. Приближал лицо, наслаждаясь той особой, мусульманской синевой, в которой присутствовало божественное свечение, вызывавшее в душе сладостное благоговение. Поворачивал вазу, любуясь игрой пузырьков. Стекло сохранило в себе воздух Герата, в котором высились смуглые изразцовые минареты, сухо и ярко желтели глинобитные дома Деванчи, на клумбе, перед мечетью краснели розы; колонна бронетехники, разведя пушки “елочкой”, втягивалась в узкую улицу, и он, нагнувшись с брони, сорвал вялую душистую розу.

Он любовался вазой, и свет начинал в ней меркнуть, она темнела, как гаснущая голубая лампада. Пропал ее видимый образ, в руках оставался невидимый, хрупкий на ощупь предмет, а в глазнице еще трепетала синева. Но она исчезала, словно стеклодув втягивал обратно свое дыхание, убирал из глазницы изображение вазы.

“Ну вот, я ослеп”, — подумал Суздальцев, пугаясь не тьмы, а присутствия Бога, который был явлен ему в лазури, и теперь, отобрав зрение, ждал, что слепец станет открывать в себе духовное око, чтобы им созерцать необозримые просторы духа. “Боже, я ослеп, и теперь я Тебя увижу”. Он ожидал, что ему явится Божье лицо, как тот “Спас Ярое око”, что он видел в Третьяковской галерее, куда в детстве, в морозный московский денек, водила его мама. Но Спас не являлся, а стоял в глазах бархатный мрак.

С тех пор время его потянулось, как тревожное ожидание и непрерывная печаль. Он вглядывался в себя, надеясь, что в душе вот-вот раскроется глаз, неподвижный и ясный, заключенный в треугольник, рассылающий во круг лучи ясновидения, каким изображают в храмах “Божье око”. Но внутренне зрение оставалось все тем же, внешним, — было наполнено видениями, среди которых прошла его жизнь. Песчаная насыпь с железнодорожной колеей, ведущей к тайландской границе. Сахарно-белый Бейрут с дымом одинокого взрыва. Синее шоссе под Лубанго с исковерканной, сожженной “тойотой”.

Теперь он много лежал с раскрытыми глазами, которые были запечатаны сургучом, как депеша, предназначенная для могущественного получателя. Он больше не мог читать и вспоминал стихи, которые, словно предчувствуя слепоту, выучил наизусть и теперь декламировал вслух, изумляясь их новому звучанию. Это были стихи Гумилева. Суздальцев находил в них множество созвучий, отыскивал странное тождество, с которым жизнь умершего поэта воспроизводилась его жизнью.

“Туркестанские генералы” были стихами о нем, молчаливом и одиноком, безмолвно пережившим исчезновение великого времени, уход России с Востока, куда некогда, через Устюрт и Мангышлак, двигались русские полки, покоряя Хиву и Бухару.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Он вспоминал дворец Тадж, где размещался штаб Сороковой армии, янтарного цвета, похожий на французский Трианон, окруженный пепельно-розовыми и сиреневыми склонами, туманными от полдневого жара. Вспомнил тот же дворец, но ближе, с полукруглыми переплетами окон, с лепными украшениями на желтом фасаде, на котором все еще сохранялась рябь осколков. Поднимался к дворцу по серпантину, среди пожухлых от зноя яблонь, сплошь увешанных красными литыми плодами. В ночь, когда брали дворец, по этому серпантину двигались боевые машины пехоты. В яблонях, у корней, были зарыты расстрелянные гвардейцы Амина, и красные, глазированные плоды были полны сладким соком той кровавой ночи.

Еще он помнил лестницы и коридоры дворца, по которым сновали потные от зноя штабисты. Раскрытые двери кабинетов с висящими картами, полевые телефоны, кричащие в трубки офицеры. На этаже, недалеко от кабинета командующего, была деревянная стойка бара с золоченой резьбой. Ощупывая точеные завитки и соцветья, можно было отыскать пулевые отверстия той автоматной очереди, которая сразила Амина. Пуля, прошедшая сквозз мякоть его тучного тела, все еще таилась в древесных волокнах бара.

Начальника разведки, который вызвал его из гарнизона, не было на месте, он находился на выезде в Кабуле, и его заместитель, белесый, синеглазый майор с запекшимися губами, кинул на стол фломастеры и устало предложил подождать, — через пару часов начальство вернется и вызовет его на доклад. Уходя, Суздальцев увидел, как майор жадно глотает жидкий чай из стакана, и в расстегнутом вороте нервно дрожит кадык.

Он покинул штаб и снова оказался в пекле. Предгорья, бесцветные и седые, слабо струились в стеклянных миражах, и воздух, который он вдыхал, входил в легкие сухой обжигающей струей. Высоко на холме, парящее, словно летающая тарелка, виднелось лазурное строение. Ресторан, в котором Амин принимал именитых гостей. Сейчас в нем размещался зенитный расчет, охранявший подлеты к штабу, хотя было неясно, какой летательный аппарат, преодолев хребты, может спикировать на янтарный дворец из расплавленного стеклянного неба.

Не хотелось спускаться с горы в военный городок с серыми казармами, офицерскими “модулями”, ребристыми ангарами, среди которых солдаты в выгоревших на солнце рубахах перемещали какие-то бессмысленные тумбы. Сновали замученные гарнизонные женщины в блеклых платьях. Катил бензозаправщик. Не хотелось видеть одноэтажное здание, окруженное акациями, в котором обитал представитель ставки, надменный генерал с аристократической щеткой усов. О генерале ходили слухи, будто он, страдая желудком, выписал из Союза корову, которую доставили в Кабул самолетом. И теперь она паслась где-то поблизости, в складках холмов, поедая целебные полыни, нагуливая молоко, которое пил генерал.

Суздальцев не пошел в городок, а направился вниз с горы, напрямик через сад, надеясь отыскать укромное бесплодное место. Лечь на сухую землю в прозрачной тени поблекших кустов, подремать, слыша посвисты невидимой птички, думая сквозь сон о русской корове, живущей в афганских холмах.

Среди сада не нашлось ему места, сквозь плоды и листья выглядывал желтый дворец. Его, лежащего под яблоней, могли увидеть из окон офицеры. Пройдя сквозь сад, он натолкнулся на пост охранения. В земляном капонире стояла боевая машина пехоты. На пыльной броне сидели солдаты, вяло жевали галеты. Осмотрели его оловянными от зноя глазами.

В поисках уединения он забрался на бугор, надеясь укрыться за его гребнем в тенистой складке. Но когда поднялся, услышал голоса, стуки металла,

рокот двигателя. В ложбине на красноватой земле стоял четырехосный тягач, и перпендикулярно к его платформе острая, как огромный заточенный карандаш, возвышалась ракета. Вокруг двигались люди в черных комбинезонах, ярко блестели домкраты, подпиравшие тяжеловесную установку. Ракета была из тех, что использовались по скоплениям моджахедов в кишлаках и городских предместьях, когда применение авиации было затруднено из-за мощной противовоздушной обороны, вертолеты и штурмовики несли потери. Такая ракета падала в тесные кварталы глинобитных строений, разносила их фугасным зарядом, а несгоревшее топливо учиняло гигантский пожар, в котором плавилось железо и камень. Суздальцев, не спускаясь к ракете, присел на склон, наблюдая приговора к пуску.

Солдаты продолжали укреплять гидравлические опоры. Офицеры то забирались в кабину установки, то снова начинали двигаться вокруг тягача. Один из них держал вертушку, крутившую лепестки в потоках жаркого ветра. Другой неразборчиво, хрипло говорил по рации. Суздальцеву казалось, что сверху он различает на руке офицера обручальное кольцо, — временами загорался золотой ободок. В прогалы холмов, среди которых пряталась ракета, клетчатый, словно розовая вафля, виднелся Кабул.

Суздальцев, сидя на жарком струящемся склоне, представлял удаленный кишлак, сухой, горчичного цвета дувал, домашний очаг, над которым склонилась женщина в сиреновой долгополой накидке. Ее черные волосы, разноцветные камушки бус. На утоптанной земле бродят куры, шалют и резвятся дети, и женщина, распрямляясь, отводит смуглой рукой упавшую на лицо прядь волос. И другая женщина, жена офицера в крохотном городке, за тысячи километров отсюда. Выкатывает в палисадник коляску, достает из нее ребенка, раскрывает белую млечную грудь, подносит младенца к розовому соску, и тот крохотными губами впивается в сладкую материнскую мякоть. Огромное пространство, разделявшее двух этих женщин, было стиснуто в малом зазоре пускового устройства, между медными клеммами, сквозь которые проскочит искра. И можно сбежать с холма, объяснить офицеру с обручальным кольцом свойство испепеляемого пространства, в котором гибель одной женщины влечет неминуемую гибель другой. И от воли ракетчика зависит сбережение жены и ребенка, пусть просунет между медными клеммами хоть бы этот вялый, блеклый листок, останавливающий проблеск искры. Он сидел, перетирал пальцами листок неизвестного горного растения, выдыхал его пряную горечь.

Пуск ракеты был косвенно связан с его прибытием в штаб армии по вызову начальника разведки. Уже несколько месяцев на территорию Афганистана, в отряды моджахедов, поступали американские “стингеры”. Переносные зенитно-ракетные комплексы с инфракрасным и ультрафиолетовым наведением, от которых авиация несла огромный урон. Сбитые вертолеты и штурмовики лишили войска возможности проводить масштабные операции, сеяли панику среди авиаторов, заставляли их подниматься на недосыгаемую высоту, откуда невозможно было громить наземные цели. С горькой иронией вертолетчики, утратившие господство в воздухе, называли себя “космонавтами”. Ход военных действий ощутимо менялся, грозя переломом. “Стингеры” по тропам переправлялись из Пакистана, растекаясь по приграничным районам. Уже применялись моджахедами под Джелалабадом и Хостом, Файзабадом и Гордезом. Батальон спецназа под Лашкаргахом, откуда прилетел Суздальцев, был нацелен на перехват караванов, с которыми “стингеры” должны были проникнуть в окрестности Шинданта и Герата. Предотвратить их расползание в приграничных с Ираном районах.

Вся деятельность разведки была направлена на поиск ожидаемых караванов. Шла работа с агентурой в окрестностях Кандагара, совершались неустанные разведывательные полеты над песчаной пустыней Регистан. Караваны не появлялись, но их приближение ощущалось по множеству косвенных признаков.

Суздальцев увидел, как ракетный расчет кинулся прочь и стал прятаться в неглубокий, отрытый в стороне овраг, к которому от платформы тянулась кабель. Стало тихо. Розовела вдалеке вафля Кабула. Он ощутил большой

укол в сердце, словно ударила крохотная острая искра. Под соплом ракеты зашипело, вырвался белый пар, раскрылась огненная юбка, из которой вверх скользнуло тело ракеты. Повисла среди грохота, опираясь на шар огня. Пошла ввысь, раздувая шипящее пламя, все быстрее и быстрее, извергая из сопла ослепительный свет. Рванулась, уменьшаясь, меняя траекторию, пульсируя факелом, роняя на землю стихающий рев. Ушла в блеклую голубизну, оставив на земле рыжее, окруженное копотью костровище, горчичную пыль, которая медленно оседала на холмы, на окоп, на полевые зеленые звезды его погон. Тишина. Кабул, похожий на розовый отпечаток. Где-то в поднебесье мчится ракета, приближая к кишлаку чудовищный взрыв.

Сзади, на склоне, зашуршали шаги. Сбегал порученец, одергивая под ремнем мешковатый китель:

— Товарищ подполковник, начальник разведки вас ждет.

Суздальцев поднялся и последовал за порученцем, видя, как сыплются из-под его подошв мелкие камушки.

Он старался вспомнить лицо начальника разведки, которое с годами забылось, затуманилось, запылилось. Исчезло вместе с другими унесенными лицами. Небольшой влажный лоб, на котором загар кончился у корней волос, и розовел рубец от только что снятой пятнистой кепки. Бледные залысины с редкими желтоватыми волосами. Тревожные, сквозь очки, глаза, которые часто моргали, словно хотели выдавить накопившееся ядовитое солнце. Рот усталый, нена начальственный, почти просительный, выговаривающий звук “р” с легким бурлением.

— Вот об этом я вам и хотел сообщить, Петр Андреевич. Эта информация поступила из Центра, от нелегалов в Иране. Иранцы тоже, как и мы, охотятся за “стингерами”, засылают в район Герата группы захвата. Операция, в которой вы задействованы, имеет, стало быть, два направления. Не пустить караваны в район Герата. И не позволить иранцам перехватить зенитно-ракетные комплексы. Центр считает, что в случае захвата иранцами “стингеры” могут попасть в руки террористов, и где-нибудь в районе Гамбурга или Рима начнут падать пассажирские лайнеры. А это, как вы понимаете, нам ни к чему. За ходом операции следят сразу несколько членов Политбюро, МИД и лично Юрий Владимирович. У вас есть шанс увеличить число звезд на погонах или, напротив, уронить в пыль имеющиеся. Каково-то их из пыли опять доставать. — Начальник разведки кисло улыбнулся, и на его облупленном носу сильнее заблестели капельки пота. Он недавно переболел гепатитом, собирался, не дослужив срок, вернуться в Союз. Отдавал операцию на откуп Суздальцеву, тайно от нее отрекаясь.

— Вот посмотрите, где предположительно базируются иранские группы. И на каких тропах они могут перехватить караваны, — он шелестел указкой по большой настенной карте, где извивались дороги и реки, зеленели низины и желтели предгорья, краснели стрелы осуществляемых войсковых операций и в черных овалах значились цифры бандформирований и имена полевых командиров. Суздальцев смотрел на карту, а видел бронегруппы, идущие по ущельям, пикирующие на кишлак вертолеты, ловких, с красными лицами бордачей, скачущих по камням, и огромный слепящий взрыв от упавшей ракеты: медленная черная копоть, похожая на сутулого великана.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утром он покинул свою комнату в гарнизонном модуле и вышел на пепельный плац, где совершался развод батальона. Стояли повзводно шеренги солдат в серых панамах. Командиры делали доклад комбату, получая задания по несению гарнизонной службы. Глинобитные казармы, блочный офицерский модуль, кунги с антеннами, накрытые маскировочной сеткой, — всё было в сухом жарком солнце. Саманная изгородь окружала гарнизон, и по периметру были зарыты в землю боевые машины. Перед воротами выселились мешки с песком, с узкими пулеметными гнездами. Выгоревший, едва розо-

веший флаг висел над штабом. За оградой мутно мерцала свалка с металлическими вспышками консервных банок. Грифы совершали круги в бесцветном небе, неохотно садились на помойку, выгибая голые злые кадки. В стороне приоткрылся незаметный саманный домик, где разведчики встречались с приходившими в гарнизон агентами. Там же велись допросы. Там же находилась тюрьма.

У входа в домик Суздальцева поджидал его заместитель майор Кось, — лысый череп, пшеничные усы над презрительными, оттопыренными губами, мясистый нос и выгоревшие до белизны брови с водянисто-синими, навывкат, глазами. Его большое, неумное тело было готово двигаться, лезть на броню, плюхаться на железную скамью вертолета, шумно падать в бассейн недавно построенной бани. При допросах наносить зубодробительные удары в бородачатые лица пленников.

— Ну что, Петр Андреевич, получил втык или благодарность от начальства?

— Скорее втык, Анатолий Иванович. Недовольны, что у нас до сих пор ноль результатов. Пригрозили, что устроят звездопад с погон. А вообще, дали вводные по иранской тематике.

— А по китайской, часом, не дали? Дали бы лучше вводные по итальянской тематике, мы бы отсюда куда-нибудь в Неаполь махнули. Попили бы настоящее вино, отведали морскую кухню, посмотрели на красивых женщин и забыли бы эту чертову дыру, где хорошо только грифам помоечным.

— Есть что-нибудь новенькое от братьев-мусульман? Или по-прежнему тянут резину? Похоже, они морочат нам головы, наводят на ложный след. Тем временем груз малыми порциями преспокойненько пересекает пустыню и расплазается по гератской “зеленке”. Есть информация от доктора Хафиза?

— Сообщил, что скоро вернется из Кветты. Придет, не раскрывая себя, с контрабандным грузом. Доставит списки пакистанских агентов и явки в кишлаках по периметру пустыни. Будем брать.

— Цены ему нет, Хафизу. Но, похоже, со “стингерами” у него прокол.

— Вчера посылали “вертушки” в район Банадира и Хан-Нишина. Всё пусто.

— Надо поднажать на братьев.

— Сейчас поднажмем.

Они вошли в дом, где было прохладно, сквозь тесное оконце проникал пучок солнца. Стоял стол с полевым телефоном, бутылка “колы”. На табуретках сидели два здоровенных прапорщика, Корнилов и Гмыря. Встали, козырнули вошедшим офицерам.

— Ну, давай, Корнилов, веди сюда сначала Гафара, младшенького. Доктору его вчера показали?

— Все кости целы, а шкура заживет как на собаке.

Прапорщик вышел и через несколько минут вернулся, толкнув в комнату пленного афганца.

Гафар был невысок, худ, с голыми ключицами под разорванной блеклой рубахой. На стриженной голове краснела усыпанная бисером шапочка. Из черной, начинавшей сесть бороды выглядывала фиолетовая распухшая губа. Он прикасался к ней тонкими пальцами. Было видно, что у него выбиты зубы, и он то и дело нащупывал языком оставшиеся пустоты. Когда он приподнимал руку, рубаха под локтем расходилась, и открывался на ребрах синий вспухший рубец от удара ремнем. Он переступил порог комнаты, заклоняясь ладонью от майора, словно ожидал немедленного удара. Чернильные глаза дрожали страхом, тоской, ожиданием мучений.

— Садись, — произнес майор Кось. — Да садись, тебе говорю! — он толкнул пленного к табуретке, и тот присел, ссутулился, желая занимать как можно меньше места на табуретке, на которой вчера испытал столько боли и мук.

— Ну вот, дорогой Гафар, пришло время нам опять с тобой поговорить, — майор рассматривал афганца своими голубыми глазами доброжелательно и насмешливо, как рассматривают занятого зверька, от которого ждут потешных реакций. — Как себя чувствуешь? Я вчера погорячился, огласен. Но ведь ты сам меня довел.

Суздальцев не испытывал жалости к афганцу. Тот являлся одним из звеньев в расследовании, от которого зависел исход операции, успех изнурительных действий множества людей, жизнь авиаторов, чьи машины, сбитые “стингерами”, превращались в комья огня. Афганец был всё той же “деталью войны”, которая подвергалась здесь, в комнате для допросов, интенсивным нагрузкам, чтобы, в конце концов, не выдержать и сломаться.

— Так что прошу тебя, Гафар, пожалей и себя и меня. Мне было тоже вчера не сладко. Давай, говори всю правду.

Суздальцев отмечал у майора хорошее знание фарси, которым сам он не мог похвастаться. Конь отлично владел оттенками разговорной речи, а также изысканными оборотами персидской поэзии, декламируя наизусть главы из “Бабурнаме”, певуче и сладостно, закатывая голубые глаза. Теперь он наклонялся к афганцу сильным мускулистым телом, держа кулаки в карманах, чтобы их грозный вид не пугал избитого пленника.

— Так будешь ли, дорогой Гафар, говорить правду?

— Господин, я говорю правду, — произнес афганец, складывая молитвенно руки, и Суздальцев заметил, какие розовые красивые у него ногти и длинные смуглые пальцы. — Не знаю ни про какой караван.

— Правильно говорят о себе афганцы. “Думаем одно, говорим другое, делаем третье”. Но я хочу, чтобы ты и думал, и говорил, и делал одно и то же. А то я опять рассержусь.

— Господин, этот лгун Хамид говорит неправду. Не знаю ни про какой караван. Хамид зол на меня за то, что я прогнал его баранов. Его бараны пришли на мое поле, стали пить воду из моего арыка. Я их погнал, они побежали, и один баран сломал себе ногу. За это Хамид меня ненавидит. Не знаю ни о каком караване.

— Если ты будешь врать, я сломаю тебе ногу, как тому барану. Слушай меня внимательно. Люди о тебе говорят, что ты получил от кого-то большие деньги, купил грузовик и ездил на нем в Кветту, перевозил оружие. Теперь тебе поручили переправить сюда ракеты, и я хочу знать, где и когда пройдет караван.

— Господин, какое оружие я возил из Кветты? Мука, рис, масло. Два раза возил бензин и партию резиновых калош. Грузовик не мой, мне сдал его в аренду инженер Азис, но я вернул ему грузовик, потому что не хватает денег с ним расплатиться. Я бедный человек, господин.

— Инженер Азис сказал, что ты возил на его грузовике оружие, и у тебя в Пакистане есть друзья-военные. Они поручили тебе встречать караван с ракетами. Скажи, по каким тропам в пустыне пойдет караван? В Хаджа-Али, в Сурхдуз, в Кандаду? Там есть колодцы, и верблюды могут напиться. Или в Палалак, в Дехши, где нет колодцев, и ракеты повезут на “тойотах”?

— Господин, не знаю ни про какой караван.

Майор грозно рыкнул, замахнулся, и афганец отпрянул и съезжился. Кулак майора повис над красной бисерной шапочкой, готовый вдавить ее в плечи ударом.

Глаза пленника были похожи на ягоды черной смородины — чернильные, без зрачков, с золотой искрой. Фиолетовая тьма выдавала беспредельный ужас, ожидание мук, предчувствие неминуемой смерти. Золотой проблеск говорил о страстном желании жить, о надежде спастись, о мелькающих в сознании способах обыграть жестокого человека, в чьих руках находилась его жизнь. Узкое, избитое тело афганца искало лазейку, куда бы могло ускользнуть.

Майор Конь убрал кулак. Продолжал допрашивать благожелательно и спокойно, чтобы душа афганца не нырнула от страха в темную норку, не затаилась там, трепеща от ужаса. И тогда ее придется выковыривать ударами, криком, выкуривать из норы, как затравленного зверька.

— Дорогой Гафар, твой брат Дарвеш признался, что вы оба на днях встречаете караван на краю пустыни. Дальше ведете его на север, в Калахисам и Хурмалик. Там передаете груз другим проводникам, которые доставят его в Герат.

— Господин, мой брат Дарвеш не мог такое сказать. Ему нельзя отлучаться из дома. Наша мать живет у Дарвеша, она очень больна и может вот-

вот умереть. Дарвеш не может уехать из дома и оставить мать умирать. И я не могу уехать из дома. Мы оба хотим быть рядом с матерью, когда она станет умирать.

— Ты, собака, умрешь раньше матери! — майор Конь схватил афганца за горло под ключковатой бородой, стал сжимать, так что глаза пленника полезли из орбит, а на лбу, от переносицы, уходя под красную шапочку, вздулась жила.

— Придушу тебя, как собаку! Выкину тебя на помойку, и пусть грифы обклеивают твоё вонючее тело! Когда пойдет караван? По каким тропам, собака?

— Аллах свидетель, не знаю! — хрипел афганец, и из его распухших губ вываливался синий язык.

— Хорошо, — сказал майор Конь, отпуская хрипящее горло, — ты клянешься Аллахом. И при этом врешь. Сейчас посмотрим, как ты любишь Аллаха, какой ты правоверный и как ты готов выполнять заветы пророка!

Он полез в ящик стола. Извлек пухлую, в кожаном переплете книгу — Коран, найденный им в разоренной мечети, куда угодил снаряд. Суздальцев помнил, как майор Конь ходил по ломким голубым изразцам, приказывал солдатам собрать лазурные осколки, чтобы выложить ими стенки бассейна. Теперь рядом с баней переливался лазурью бассейн, куда громко падало распаренное могучее тело майора.

— Смотри, — майор выложил книгу на стол, раскрывая ее на первых страницах. Суздальцев видел арабскую вязь, раскрашенные, из цветов и листьев, узоры, толстые, замусоленные прикосновением пальцев страницы. Прочитал слова второй Суры: “Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного! Алеф-Лям — Мим. Эта книга, несомненно, наставление для тех, Кто страшится гнева Бога”.

Афганец смотрел на лежащую книгу, в которой, словно легкие струйки дыма, извивались арабские строчки, и в этих прозрачных летучих дымках звучало Божественное Слово.

— В этой книге живет Аллах. Ты клянешься его именем. Я буду рвать эту книгу, совершая грех, который невозможно простить. Но книгу эту буду рвать не я, а ты, своей ложью, своей лживой клятвой. Своим лживым языком, своими грязными руками ты будешь разрывать священную книгу, в которой обитает Аллах!

Суздальцев видел, как ужаснулся афганец. Как остановилась в нем жизнь, пойманная в страшную западню, из которой не было выхода. Пытка, которая ему предстояла, была страшнее побоев, смертельней электрического тока, невыносимей зрелища убитых детей. Его заставляли осквернить сияющую Бесконечность, безбрежную Доброту, всевышнюю Любовь. Принуждали попрасть божественную силу, которая сотворила Вселенную, породила звезды и землю, ледники и пустыни. Этой силой сберегались родные кишлаки и мечети, могилы предков и кричащие в колыбелях дети. Ему предлагали осквернить Божество, к которому он обращался с детства, опускаясь на молитвенный коврик. К которому зывали святые пророки, попадали жившие до него соплеменники и будут принадлежать еще не родившиеся внуки.

— Говори! — майор ухватил страницу, сжимая ее крепкими пальцами. Суздальцев видел орнамент из розовых цветов и зеленых побегов, струйки арабской вязи, желтоватые от табака ногти майора с темными кромками грязи.

— Молчишь? — майор выдрал страницу. Она издала треск живой разрываемой ткани. Суздальцеву показалось, что в пленника ударила молния, от которой у него побелели глаза. Ему рассекли пуповину, соединявшую его с бытием, и он корчился в пустоте, окруженный тьмой.

— Говори, по какой тропе пройдет караван? — майор рванул вторую страницу, на которой Суздальцев успел прочитать: “Но для неверных все равно. Увещевал ты их, иль нет. В Аллаха не уверуют они”.

Казалось, пленник потерял рассудок. Боль, которую он испытывал, была не связана с мучением плоти. Кончался мир, сыпались с неба звезды, па-

дали горы, из пустынь излетал огонь, и это он своей ложной клятвой, своим святотатством навлекал гнев Господень.

— Где пройдет караван?

Суздальцев чувствовал, что в глинобитной комнате с грязным столом, левым телефоном, жестяным ведром у порога пульсирует страшная молния. Боль, которую исторгал афганец, плавил глинобитные стены, пластмассовый корпус телефона, грубые ботинки прапорщиков. Рука майора, готовая вырвать страницу, казалась горячей головней, с пылающими костями и жилами. И он сам, Суздальцев, был помещен в огненный тигель, в котором испепелялась его нечистая плоть и несправедная душа.

— Где пройдет караван? — рука майора начинала выдирать третью страницу.

— Господин, я скажу! Скажу, господин! Караван пройдет мимо колодцев Зиарати и Чакул.

— Сколько верблюдов?

— Четыре.

— Когда?

— Завтра. Я должен их встретить у колодца Тагаз.

— Брат тоже должен встречать?

— Брат остается дома. Мать у нас умирает.

— Вот и хорошо, дорогой Гафар, — спокойным голосом, отпуская страницу, произнес майор, — теперь Аллах тебя простит. А страницы мы снова подклеим. Книги надо беречь, — он бережно вложил выданные страницы в Коран, благоговейно провел рукой. — Завтра тебя и брата мы возьмем в вертолет. Будем вместе встречать караван... Корнилов, уведи этого придурка, — по-русски приказал майор Конь.

Прапорщик приподнял за шиворот хилого афганца, толкнул к дверям.

— Ты, Петр Андреевич, пойди посмотри радиоперехваты. А я еще допрошу его братца. Если врут, завтра их обоих грохну.

Суздальцев пересекал серый плац, искрящийся множеством песчинок, которые ветер приносил из пустыни. Низко, в слюдяном блеске, прошли вертолеты, бортовые номера “44” и “46”, — капитан Свиристель со своим ведомым Файзулиным летели в пустыню на досмотр караванов. Двое солдат тащили на кухню мешок картошки, было видно, как из дырок мешка торчат проросшие картофельные стебли. Из хозблока, где размещалась кухня и прачечная, выглянула официантка Вероника, черноволосая, смуглая, как цыганка, с сильной, свободно плещущей грудью. Прикрыв ладонью глаза, смотрела вслед вертолетам. Была “фронтальной женой” капитана Свиристеля, сопровождала его вылеты цыганской ворожкой.

Суздальцев работал в “секретном отделе” с радиоперехватами. Над пустыней, в разных направлениях, со стороны Пакистана и Ирана носились позывные. Переговаривались полевые командиры. Окликались друг друга уходящие на задания группы. Давали знать о себе бредущие по пустыне караваны. Все это кружилось, металось, как чайники в пиале чая. Шифры и позывные было невозможно привязать к поселениям и ведущим через пустыню дорогам. Местонахождение караванов и боевых групп оставалось не выявленным. И только особым воображением, бессознательным созерцанием Суздальцеву удавалось совместить голоса эфира с координатной сеткой пустыни. Было странное чувство, что пустыня уже пропустила сквозь себя груз “стингеров”. Сквозь пески пролегал коридор радиомолчания, по которым, с выключенными рациями, мог пройти караван. Это было недостоверно, имело малую вероятность, не исключало допросы пленных и облеты песков. Пустыня хранила тайну. Была запечатана для него, русского офицера разведки. На ней лежали огненные сургучные печати, над которыми, словно легкие семечки, кружили вертолеты.

Он думал о докторе Хафизе, который поставлял из Кветты драгоценную информацию. Доктор Хафиз из службы безопасности “ХАДа” был белозубым черноусым красавцем, с которым Суздальцев встречался в Ташкенте, а потом в штаб-квартире “ХАДа”, в Кабуле. У него была странная, неудобная

для разведчика примета, — половина головы была седой, словно эту половину, рядом с черными, курчавыми волосами, накрывал белый парик. Говорили, что он поседел от пыток, когда находился в тюрьме Пули-Чархи, вместе с другими, арестованными Амином партийцами. Внедренный в Кветту, поставляя верблюдов для караванов с оружием, он вскрывал их маршруты, наводя вертолеты. Общась с проходящими из Афганистана погонщиками, он многое знал о пакистанской агентуре, о базах оружия в кишлаках, о тайной сети, сотканной пакистанцами вокруг Кандагара. Через несколько дней с очередным караваном доктор Хафиз прибудет в Лашкаргах, и они встретятся на окраине города, на конспиративной квартире.

Вечером он сидел в модуле вертолетчиков, в комнате, где жил замкомэска Леонид Свиристель. Тут же находились его друг и “ведомый” Равиль Файзулин и Вероника, “фронтальная жена” Свиристея. Ее заботливые руки облагородили суровое жилище пилота, — занавесочка на окне, салфеточка на тумбочке, штора, скрывающая вместе с летными комбинезонами и бушлатами женские сорочки и платья. Не было по углам пустых бутылок, пепельницы с окурками, замызганных у порога ботинок. Стояла вазочка с робким цветочком пустыни, клетчатый панцирь черепахи, из которого выглядывали матерчатые лоскутки и иголка. Над кроватью висел старинный азиатский кинжал и гитара. Все разместились за столом, под рукодельным матерчатым абажуром, угощаясь шипучкой из баночек “Си-Си” и бутылок “7 UP”.

— Опять, Петр Андреевич, прочесываем квадраты впустую. Хоть бы какой-нибудь занюханый верблюдище попался, какая-нибудь задрипанная “тойота”. Хоть бы по ней построчить из курсового пулемета для очистки совести, — Свиристель мотал золотистым хохолком, округлял рыжие глаза, и его молодому легкому телу было тесно на стуле, он выгибал в разные стороны шею, был похож на птицу, готовую взлететь и выбравшую направление полета. — Когда же у нас будет реализация разведанных?

— Может, завтра будет, — сказал Суздальцев, вспоминая красную шапочку пленного афганца, хрустящую, выдираемую из Корана страницу.

— А я вот наколдую, Лёня, и не будет вам каравана, — сказала Вероника, отбрасывая с загорелого лба блестящую черную прядь. Ее темные, с голубоватыми белками глаза с обожанием смотрели на Свиристея. Смуглое цыганское лицо было исполнено нежности и счастливой преданности, и было видно, что ей нравится все в любимом человеке, — его мальчишеский хохолок, нетерпеливое мигание глаз, лихая, мелькавшая в них беспашанность. — Меньше стреляете, целее будете, мальчики. Наколдую, и никакого вам каравана.

— Знаем твоё колдовство, — хмыкнул Файзулин, коричневый от солнца, крепкий, как желудь, с блуждающими глазами, которые, казалось, все высматривают в красных песках Регистана пыльное облачко бегущей “тойоты”, бусины верблюжьего каравана. — Зайди за модуль, и увидишь твоё колдовство. На клумбе камушками выложила вертолет, на нем номер “44”. Поливаешь водой, чтобы он у тебя цветами расцвел. А в этой чертовой пустыне лей, не лей, все равно на клумбе одни камни останутся. Вот и все твоё колдовство.

— Ты дурачок, Файзулин. Я цыганка, свое дело знаю. Я над водой пошепчу, заговорю ее, воду, и полью вертолет. Вот он и приходит цел, невредим. И ты, Файзулин, приходишь, хотя у тебя на лбу “46” стоит. Держись командира, и будешь живой.

Вероника посмеивалась, блестя белыми зубами, подкалывала Файзулина, и тут же, переводя взгляд на Свиристея, сладко замирала. Ее красивое, с резкими чертами лицо словно выпадало из фокуса, становилось размытым, туманным от страсти и обожания. Темные брови вразлет, пунцовый рот, смуглая открытая шея, ложбинка груди, у которой обрывался загар и начиналась пленительная белизна, — всё обращалось к любимому человеку, принадлежало ему безраздельно. Долгим, опяненным взглядом она смотрела на Свиристея, и когда кто-нибудь замечал этот взгляд, вздрагивала и смущенно опускала глаза.

— Ну что глядишь на меня? Волосы дыбом встают! — грубовато, насмешливо произнес Свиристель. Сделал страшное лицо, потянул себя за хохол, и тот еще больше вздыбился на макушке, превратился в золотой завиток.

Суздальцев видел эту клумбу под окнами модуля, на которой любовно, смуглыми руками Вероники, был выложен из камушков вертолет. Из темных — похожий на рыбу фюзеляж. Из белых — круг винта. Из розовых — звезда и цифра “44”. Он знал, что Вероника засеивает клумбу добытыми в Лашкаргахе семенами цветов, старательно поливает из самодельной лейки, — из пластмассовой, с продырявленными отверстиями бутылки. Иногда клумба начинала робко зеленеть, но потом солнце пустыни сжигало зелень, превращало клумбу в раскаленный противень. Ворожба Вероники напоминала детскую игру, когда дитя из черепков и стеклышек выкладывает в песочнице нехитрый рисунок или вычерчивает на морском пляже чье-нибудь лицо или имя. Это детское колдовство было тайноведением, доставшимся по наследству от забытых предков. Сотворяя образ животного с рогами, или воина с копьем, или женщины с заостренными грудями, древний пращур стремился овладеть духами, — добыть на охоте зверя, победить на войне врага, привести на ложе женщину, которая родит ему потомство. Вероника, наследуя все женские суеверия и страхи, была колдуньей. Заговаривала свое счастье, сберегая суженого. Истребляла его врагов, окружая непроницаемым кругом боевой вертолет Свиристеля. Кропила “живой водой”, продлевая свое бабье счастье, недолговечное на войне.

— А правда, мальчики, вы бы меня брали пред вылетом на вертолетную площадку. Я бы ваши вертолеты водой кропила. Раньше священники перед боем солдат “святой водой” кропили.

— У тебя для священника ряска коротка, — засмеялся Свиристель. Потянулся к Веронике и коснулся рукой ее смуглого, выглядывающего из-под юбки колена.

Суздальцев был знаком с суеверьями войны, сам был ими опутан.

Одним из суеверий, которым защищал себя Суздальцев и которое оставалось его личной тайной, неизвестной никому другому, — было чтение наизусть стиха Гумилева. Того стиха, что был записан когда-то в тетрадку его юношеской рукой. Там были такие слова: “Упаду, смертельно затоскую, / Прошлое увижу наяву, / Кровь ключом захлещет на сухую, / Пыльную и мятую траву”. Этим стихотворением Суздальцев предрекал себе смерть, говорил о ней, как о случившейся. И тем самым разочаровывал смерть, которая всегда предпочитала являться неожиданно, ударить из-за угла, захватить врасплох. Когда ее поджидали, называли по имени, подставляли ей грудь, она отворачивалась и отступала. Ждала, когда жертва забудется и не прочитает охранительную молитву.

— “Святая вода”, говоришь? Цыганское, говоришь, дело? — Файзулин яростно, зло набросился на Веронику. — А где же была твоя “святая вода”, когда Мишу Мукомолова сбили? Где было твое “цыганское дело”, когда его жареные кости в фольгу заворачивали? Ведь ты свою клумбу и тогда поливала, только тогда на твоём вертолете стоял номер “36”, бортовой номер Миши?

Вероника беззвучно ахнула, отпрянула, словно ее хотели ударить. Ее пунцовые губы побелели, глаза наполнились слезами, а черные, со стеклянным блеском волосы, казалось, утратили свой блеск. Вспышка Файзулина была обожанием, которое он испытывал к другу и командиру Свиристелю. Была ревнивой неприязнью к Веронике, которая отнимала у него друга, вторгалась в их дружбу своей женской страстью. Была больным воспоминанием о гибели товарища, у которого Вероника числилась “фронтальной женой”, слишком быстро о нем забыла, перенесла свое страстное поклонение на Свиристеля.

Все молчали, будто в воздухе продолжал висеть звук удара. Первым заговорил Свиристель, словно хотел погасить свою вину перед погибшим Мукомоловым, у которого, пускай после смерти, отобрал любимую женщину. Вину перед Вероникой, которую не смог защитить от жестокого упрека Файзулина. Вину перед Файзулиным, страдавшим от поспрадания святынь любви и товарищества.

— Миша Мукомолов был летчик от Бога. Ходили с ним на десантирование, сопровождали колонны, летали на удары в кандагарской “зеленке”. У него был звериный нюх, когда искал караваны. Брал след и находил по запаху, как гончий пес. Шел на удары, как заговоренный, будто и впрямь его “живой водой” кропили. Десантников вытаскивал почти из могилы, — весь в дырках, винты прострелены, а людей забирал с того света. Погиб не в бою, а когда возвращались домой, проводив за Кандагар колонну. Там есть чертово место, Таджикиан. Когда-то был кишлак, но его перемолотили снарядами. Сверху ни домов, ни улиц, будто белой мукой посыпано. Все оттуда ушли. Наверное, “духи” в норы зарылись и стерегли вертолеты. Я видел, как пошла ракета. Струйка курчавая, догнала с хвоста и ударила. Может, наша “стрела” трофейная. А может, и “стингер”, хрен ее знает. Смотрю, из “тридцать шестого” дым пошел. — “Миша, горишь!” А он только успел: “Свиристель, прощай! Веронике поклон передай!” Упал в Таджикиане. Вижу, как “духи” из-под земли вылезают и бегут к вертолету. Я отработал “нурсами”, только ошметки летят. Окружил вертолет взрывами. Забрали Мишу, весь экипаж погиб. Иду обратно, смотрю — по тракту две “бурбухайки” пылят. Я зашел и давай их долбить. “За Мишу! За Мишу! За Мишу!” Я эту трассу ракетную, этот хвостик кудрявый во сне вижу. Мы эти “стингеры” возьмем или нет, Петр Андреевич? — повернулся он к Суздальцеву.

— Завтра брать будем, — ответил Суздальцев, вовлеченный своими суеверьями, тайными страхами и предчувствиями в клубок людской ненависти, дружбы, любви.

Суздальцев вдруг почувствовал, что операция, которую он проводил, близка к провалу. Противник его обыгрывает. Отвлекает внимание на ложные цели, заставляет тратить драгоценное время. Уводит, как птица, притворяясь подранком, уводит охотника от гнезда. Пока он допрашивает двух упрямых афганцев, прослушивает радиоперехваты, летает на досмотры в пустыню, “стингеры” окольными путями и безвестными тропами движутся на север к Герату. И завтрашний день, как и прежде, не принесет результатов.

— Смерть, она любит, когда с ней шутят. Она ведь большая шутница, — Свиристель улыбался, прикрывая глаза выпуклыми дрожжащими веками. — С ней поиграть можно в кошки-мышки, казаки-разбойники, или в “русскую рулетку”. Как раньше офицеры, — забивали пулю в барабан револьвера, крутили и подставляли к виску. Повезет — не повезет. Хорошая игра, офицерская, смерти очень нравилась.

— Слава Богу, у вас револьверов нет, — Вероника, пугаясь, смотрела на его дрожжащие веки, под которыми что-то мерцало, переливалось, рыжее, беспощадное и шальное. — Теперь-то вам нечего к виску приставлять.

— Револьверов нет, а часы есть, — Свиристель оголил запястье, на котором блестяли часы — “сейка”, в золоченом облупленном корпусе. — Можно со смертью в часы поиграть.

— Это как? — загорелся Файзулин, глядя на свои тяжелые, командирские, с фосфорным циферблатом часы. — Это как же играть-то?

— Смотри! Часы, они где? Там, где пульс, где частота сердца, — Свиристель выгибал запястье, перехваченное наборным браслетом, под которым синели вены и натягивались жилы. — Значит, часы показывают не просто время, а время твоей жизни, твое личное время, а значит, и время твоей смерти, — он с упоением смотрел на пульсирующий бег секундной стрелки, словно засекал мгновение собственной гибели. — В твоих часах твоя жизнь и твоя смерть. В моих — моя. У Петра Андреевича — его. У Вероники — ее. Если мы часы кинем в шапку, а потом станем вытаскивать, какие кому достанутся, то мы поменяемся жизнями, поменяемся судьбами и смертями. Например, моя смерть к тебе перейдет. Его — к тебе. Ее — ко мне.

— Здорово придумано, — восхитился Файзулин. — Значит, я могу твою смерть на себя взять? Я готов.

— Глупости, — Вероника испуганно возражала. — Это всё равно что смерть за ушами щекотать. Она, как кошка, спит, спит, а потом как вцепится.

— Ну и ладно, — все больше загорался Файзулин. — То она нас мучает, а то мы ее помучаем. Поморочим ее.

— Так что, сыграем? — крутился на стуле Свиристель, трепеща хохолком.

— Я готов.

— А вы как, Петр Андреевич?

— Я согласен.

Свиристель достал из угла старую солдатскую панаму с ремешком и зелеными пуговицами. Мужчины стянули с запястий и кинули в панаму часы.

— Может, не надо, Лёня? — противилась Вероника.

— Делай, что говорят!

Вероника неохотно, повинувшись приказывающему взгляду Свиристеля, взяла с тумбочки свои часики на кожаном ремешке и положила в панаму. Четыре спички разной длины соответствовали каждая определенным часам. Самая длинная — С. Покороче — Свиристеля. Еще короче — Файзулина. И совсем короткая — Вероники. Она сложила спички вместе, сжимая пальцами, выставляя кончики. Протянула руку, предлагая мужчинам тянуть жребий. Смотрела на спички проницательно, остро, шевеля губами. Словно творила заговор, колдовала, вторгалась в мир темных сил, отводя эти силы от любимого человека. Что-то путала, слетала, рвала. Отводила смерть от Свиристеля, приближала ее к себе.

Суздальцев смотрел на ее пухлые свежие губы. На дрожащие слезным блеском глаза. На приоткрытую грудь с пленительной шелковистой ложбинкой. На голую, держащую спички руку. И вдруг испытал волнение, слабое сотрясение, мгновенно устыдившись своего мужского желания.

— Тянем! — произнес Свиристель и выхватил спичку. Все сделали то же. Файзулин и Вероника получили свои часы обратно. А Суздальцев и Свиристель поменялись часами.

— Отличные часики, Петр Андреевич! — Свиристель застегивал браслет, играя граненым стеклом. — Раньше менялись нательными крестами, а мы поменялись часами. Теперь мы с вами братья, Петр Андреевич.

Суздальцев смотрел, как на доставшихся ему часах трепещет стрелка. Вдруг почувствовал в груди перебой, нарушение ритма, словно в сердце влетела и угнездилась пульсирующая спиралька.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утреннее солнце начинало жечь вертолетную площадку. Два пятнистых вертолета казались ящерицами на солнцепеке. Замкомэска Свиристель смотрел, как загружают “цинки” с патронами в его машину с номером “44”, показывал карту второму пилоту и борттехнику, и те водили по карте пальцами, о чем-то переспрашивали командира. У соседней машины с номером “46” расхаживал Файзулин, хлопал ладонью по барабану, из которого, как из гнезда, торчали клювики реактивных снарядов. Казалось, он проверяет на прочность барабан, подвеску, пятнистый фюзеляж с красной звездой, на которой, едва заметная, виднелась заплатка — след попадания. Перед вертолетом стояла группа спецназа, — полтора десятка солдат в панамах, с автоматами, в “лифчиках” с “рожками”, гранатами, с ранцевой ракетой, над которой раскачивался хлыстик антенны. У троих были гранатометы, из-за спин веером торчали остроконечные заряды. У одного миноискатель. У всех были фляги с водой. Перед строем расхаживал командир группы, длинноногий, худой, в спортивных штанах и куртке, в стоптанных кроссовках, похожий не на офицера спецназа, а на спортивного тренера. И только притороченный к поясу десантный нож, короткоствольный автомат и набитый снаряжением “лифчик” выдавали в нем опытного разведчика, предпочитающего тяжелым ботинкам удобные кроссовки, в которых сподручнее мчаться по горячим барханам, уклоняясь от очередей неприятеля. Он делал последние наставления группе, в которых мало говорилось о поставленной задаче, а присутствовали скупые, ободряющие слова. Своеобразная смесь ритуального заклинания и

предполетной молитвы, которая должна была уберечь группу от превратностей полета, сплотить солдат и командира в семью, где каждый бережет жизнь соседа, словно тот является ему близким родственником.

Всё это видел Суздальцев со стороны, придерживая у плеча брезентовый ремень автомата, чувствуя на бедре холод фляги, еще не нагретой жаром пустыни. Он слабо надеялся на успех операции, которая повторяла предшествующие. По наводкам агентов, по сбивчивым показаниям пленных вертолеты отправлялись в квадрат пустыни, где ожидалось появление “стингеров”. Борт “44”, облегченный, без спецназа, шел впереди, монотонно облетая красные, марсианского цвета, барханы. Ему сопутствовал борт “46”. В случае обнаружения цели головная машина делала очередь из курсового пулемета, принуждая караван остановиться. Начинала снижаться, совершая над караваном круги. Вторая машина приземлялась в песках, недоступная для ударов гранатомета. Спецназ выскакивал и бежал на досмотр, в то время как первая машина барражировала, описывая круги, прикрывая группу всей мощью своих ракет и реактивных снарядов.

Это был полет, один из последних, после которого можно было считать, что “стингеры” благополучно миновали пустыню, просочились на север малыми порциями и теперь продвигаются в районы Шинданта и Герата.

Из ворот гарнизона показался майор Конь, тяжелый, лысый, вразвалку, с расстегнутым воротом, из которого поднималась играющая жилами шея. На плече, стволom вниз, висел автомат. Глаза сердито шурились на солнце, на сухое мерцанье свалки, у которой, на запах свежих объедков, уже опустилось несколько грифов. Он шагал, и от его ботинок клубилось солнечное облачко пыли. Следом, один за другим, шли пленные афганцы, два брата, Гафар и Дарвеш. Руки связаны за спиной. Хламида, истерзанная во время допросов, несвежего, грязно-белого цвета. Малиновая шапочка на голове Гафара, резиновые калоши на босу ногу, неопрятная борода, в которой порыбыи раскрывался глотавший воздух рот. Его брат Дарвеш был крупнее, широкоплеч, черная, с металлическим отливом борода, затравленные злые глаза, над которыми срослись иссиня-черные брови, съехала на лоб рыхлая чалма. Из-под его сандалий взлетала пыль, и он ступал за братом, что-то торопливо говорил ему на ходу. За ними вышагивали два здоровенных прапорщика, принимавшие участие в допросах, сонные, недовольные, с тусклыми лицами, вяло понукали афганцев.

— Ну что, Петр Андреевич, поищем иголку в стоге сена, — произнес Конь, пожимая Суздальцеву руку. — А ты, Гафар, дух пустыни, смотри. Не найдем караван, я тебя пристрелю, клянусь Аллахом, — обратился он к афганцу, который мелко затряс головой, прислонился к груди Дарвеша, и тот приподнял плечо, чтобы голове брата было удобнее на его широкой груди.

Спецназ, позвякивая оружием, нырял в глубину вертолета. Под тяжестью солдат поскрипывала металлическая лестница. В полутемном проеме исчезали панамы, автоматы, гранатометы. Командир группы, пружина на кроссовках, взглядом пересчитывая солдат, заскочил последним.

— Ну, давайте, мусульмане, — Конь подтолкнул к вертолету Гафара. Тот топтался. На связанных руках мучительно шевелились пальцы. Боялся ступить на лестницу и потерять равновесие. Конь грубо и сильно подсадил его. Толкнул в глубину машины. Тот зацепился за порог, и с его ноги соскочила калоша, упала на землю, черная, с малиновым зевом. То же самое Конь проделал с Дарвешем, и афганец, уже из машины, оглянулся на майора черными пылающими глазами.

Пустыня Регистан, красная, как Марс, тянулась к югу, до границы с Пакистаном, откуда по пескам, груженные контрабандным товаром и оружием, шли караваны. Либо верблюды — их медлительные ленивые вереницы, с тюками и переметными сумками на горбах, с чернолицыми и сухими, как стручки, погонщиками. Либо юркие неприхотливые “тойоты”, поодиночке или парами пересекавшие барханы. Мчались наугад, без дорог, оставляя на песке причудливые надрезы. Стальной грузовичок с пулеметом на крыше, емкий кузов, где лежат промасленные автоматы, ящики с минами или заваленные верблюжьей колючкой ракеты “стингер”.

Суздальцев, поставив между ног автомат, наблюдал приближение пустыни. Это напоминало сближение с красной планетой, таинственно возникавшей в иллюминаторе. Сначала на серой земле появлялся тонкий рыжеватый полумесяц, — принесенный из пустыни песок зацепился за камень, копил песчинки, старался превратиться в бархан. Но менялся ветер, и песок улетучивался, так и не сложившись в бархан. Полумесяцев становилось больше, они были выгнуты все в одну сторону. На темной земле возникало округлое, оранжевое вздутие, песчаный холм, еще одинокий, окруженный каменной землей. Первый песчаный оплот, закрепившийся на краю пустыни. Вздутый становилось все больше. Круглые, разных размеров, они напоминали пузыри, которые извергала земля. Идеальной формы купола, возведенные неведомыми строителями. Вспучивались, смыкались кромками, поглощали черную землю. Сплошное оранжевое море пузырилось внизу, источая стужки жара, старалось лизнуть вертолет своими пламенными языками. Регистан круглился марсиански — красными барханами, и казалось, вертолет в высоте перелетит с одной раскаленной вершины на другую.

Файзулин в шлемофоне выглянул из кабины, встретился глазами с Суздальцевым. Сжал кулак и, окунув большой палец вниз, сделал жест, известный еще со времен Рима. Жест означал “Смерть!”. Суздальцев взглянул в иллюминатор и на волнистых песках увидел след, выходящий из-за горизонта, который завершался бесформенным колючим комком и мазками сажи. Это была разбитая, месячной давности, “тойота”. Наводку на нее прислал из Кветты доктор Хафиз, и он, Суздальцев, летал на “реализацию разведанных”.

Солдаты прижимались к иллюминаторам, кричали друг другу на ухо что-то неразборчивое за шумом винтов. Майор Конь подмигнул Суздальцеву синим, с белесыми ресницами глазом. Суздальцев вспомнил удары “нурсов”, взрыхливших песок вокруг удиравшего автомобиля. Солдаты бежали из-под винтов к дымящемуся остову, вокруг были разбросаны ящики с автоматами, валялись два трупа — водителя в обгоревшем пиджаке и сопровождавшего груз бородатого моджахеда. Солдаты рылись в обломках, стаскивали в вертолет оружие. И один всё никак не мог снять металлический перстень с распухшего пальца шофера.

Конь достал пистолет, сунул дуло в ноздри Гафару, что-то сердито крикнул. Афганец часто закивал головой, залепетал разбухшими от побоев губами.

Вертолеты тянули над пустыней, их тени волнисто скользили по барханам. Они пересекали квадрат, где обычно пролегал караванный маршрут. Днем, заметив одиночную машину, вертолетчики без предупреждения поражали ее снарядами. А если это была ночь, били по мерцавшим огням. Пустыня была усеяна остовами подбитых машин. На целомудренно-чистых песках оставалась черная копоть.

Теперь они летели в стороне от караванных троп, где на карте был помечен колодец Тагаз и где, по словам афганца, должен был пройти караван.

Суздальцев прижался лбом к иллюминатору, чувствуя дребезг стекла. Пески из красного кварца тянулись монотонно, вздувались и опадали, порождая в сознании странное колышание, сонную одурь. Казалось, снизу к вертолету тянутся туманные духи, окутывают вертолет мгlistой дымкой, проникают сквозь обшивку, дурманят. Будто внизу дымился огромный кальян, и сладкая муть кружила голову. Это был сон наяву, чары пустыни.

Он почувствовал толчок, словно вертолет перепрыгнул с одной ступеньки на другую. Он очнулся. Очнулись солдаты, крутя панамками. Очнулся майор Конь, перекладывая автомат из руки в руку. Очнулись пленники, которые, казалось, спали, сблизив головы. Из кабины выглянул Файзулин в шлемофоне, кивком подзывая Суздальцева. Тот подошел. Через голову бортмеханика, сквозь ребристое остекление кабины увидел впереди, на желтых песках, черточку, похожую на изогнутого червячка. Головная машина с номером “44” нырнула ниже, делала слабый вираж, заходя на караван.

— Этот? — крикнул сквозь рокот винтов Файзулин. — До колодца Тагаз километров восемьдесят.

Майор Конь сдернул с сиденья Гафара, подтащил к кабине, втиснул в тесное пространство, где на металлической штанге поместился борттехник. Схватил афганца за шиворот и стал нагибать его голову, как делают с кошками, словно старался ткнуть бородой в караван.

— Твой? — рычал он. — Твой, говорю, караван?

Афганец мучительно дергался, всматривался в цепочку верблюдов, а майор толкал его взащей, перекивая металлический рокот:

— Мы в районе Тагаза. Ты клялся Аллахом. Твой караван?

— Мой, господин, — тоскливо оглядываясь, произнес афганец. Суздальцев видел, как съехала ему на лоб красная шапочка, как болезненно раскрывается в бороде его разбитый рот, в котором был виден сломанный зуб. Глаза афганца жмурились, словно не хотели видеть бескрайние пески и черные горошинки затерянного в песках каравана.

— Садимся, — крикнул Конь Файзулину. Оттащил афганца на место.

Вертолеты совершали одинаковые развороты. Шли вниз, сближаясь с караваном. Суздальцев знал: Свиститель уже выпустил очередь из курсового пулемета, дырявя песок, делая знак остановиться. Погонщики, понимая язык пулемета, начинают сползать с верблюжьих горбов, чтобы покорно ждать, когда побегут спустившиеся с неба солдаты и станут осматривать свисающие тюки. Или, если в тюках оружие, к небу взметнутся гранатометы, отбиваясь от машин дымными выстрелами. И тогда вертолеты, один за другим, станут пикировать на караван, ударяя остриями снарядов, превращая караван в месиво крови, костей и песка.

Вертолеты поделили функции. “Сорок шестой” с десантом стал приземляться у каравана в точке, недоступной для гранатометного выстрела. “Сорок четвертый”, сверкая винтами, на “бреющем” стал нарезать круги, охватывая караван устрашающим блеском и грохотом, готовый взмыть и направить сверху истребляющий удар.

Суздальцев чувствовал, как покачивается вертолет, нащупывая землю. За стеклами бушевала рыжая буря песка. Борттехник отворил дверь — хлопок жара, колючий вихрь проникли в вертолет. По знаку командира солдаты, щуря глаза, стали выпрыгивать, падая сверху на близкий бархан. Командир скакнул последним, исчезая в полукруглом проеме, словно кинулся в печь.

— Присмотрите за этой гребаной парой! — крикнул Конь, указывая стволом на афганцев. — Если что, дырявьте! — и тяжело прыгнул, проваливаясь в рыжий огонь. Суздальцев видел, как просунулось из кабины рыльце короткоствольного автомата. Заметил, как прижались друг к другу братья. Прихватив оружие, прыгнул, ощутив на лице наждачное прикосновение песка.

Несколько секунд бежал с закрытыми глазами, слыша, как удаляется звон винтов и остается за спиной песчаная буря. Открыл глаза. Смугло-золотая лопать бархана. На ней бегущая веером цепь, — за каждым солдатом отпечатки следов. Острые, работающие в беге локти, белесые панамы, выставленные автоматы. Сильные скачки командира, — длинноногий, с “лифчиком” на животе, похож на кенгуру. Майор Конь, блестя лысиной, мощно бежит, вышвыривая из-под подошв буруны песка. Впереди, приближаясь, застыли четыре верблюда. Выгнули шеи, воздели маленькие головы, на боках пестреют тюки. Рядом с опущенными руками погонщики. Черные, похожие на маски лица, белые тюрбаны, долгополье балахоны. И в нем, Суздальцеве, внезапная жаркая сила, бурный азарт, нетерпение ловца, перед которым возникла дичь. Долгожданный караван, который выискивали и подстерегали неделями, выследили, застigli врасплох, и ему некуда скрыться, он захвачен в кольцо пятнистой, носящейся кругами машиной, легкими в беге солдатами, их прыгающим на длинных ногах командиром.

Он бежал, стараясь не отстать, всасывал раскаленный воздух. Песок был нежный, как заша. Глаза следили за недвижимыми, в белых балахонах, погонщиками, за их упавшими вдоль тела руками, ожидая, что эти руки метнутся вверх, выхватят из-под одежд автоматы, и тогда — уклоняться от пуль, кидаться на шелковистый бархан, посылать вслепую долбящие очереди, слыша издали чмокающий звук попаданий.

Страх мешался с азартом охотника, превращался в пьянящее веселье, в котором были бессознательная молитва, яростное ожидание схватки и мимолетное изумление. Вокруг — огненная бесконечность пустыни, и в этой марсианской пустоте малая горстка людей сближается, чтобы превратить свою встречу в убийство. И внезапное, Бог весть откуда, видение, — он, юноша, держит в руках сосульку, смотрит сквозь синий лед на девичье лицо, видит, как во льду переливается розовое, белое, голубое.

Подбежали, охватили караван полукругом, наведя автоматы, чтобы каждый верблюд и погонщик оказался под прицелом. Верблюды, худые, с ключковатой шерстью, поднимали надменные головы, блестели чернильными, в белых ресницах, глазами, скалили желтые зубы. Укрепленные на горбах, свисали на бока полосатые, покрытые латками тюки, раздутые острыми выступами. Четыре погонщика, тощие, узкоплечие, с одинаковыми чернолиловыми лицами, тревожно смотрели из-под рыхлых тюбанов. На плечах висели шерстяные покрывала, защищавшие среди пекла, греющие во время холодных ночлегов.

— Салям Алейкум, — майор Конь, не приближаясь, переводил автомат с одного погонщика на другого. — Откуда идете? Что за груз?

Погонщики бормотали невнятные. Суздальцев не мог разобрать ни единого слова. Один улыбался, моргал трахомными глазами, показывая беззубые десны. Поднял долгопалую пятерню, указывая за горизонт, откуда тянулись верблюжьи следы.

— Это белуджи. Ни черта не понимаю! — сплюнул на песок Конь. — Давайте, приступайте к досмотру.

Командир группы, перебросив автомат в левую руку, правой охлопывал погонщиков, одного за другим. От чалмы, по плечам, вдоль ребер, тормоша накидку, рубаху, вислые шаровары. Чувствовалось, что тела этих обитателей пустыни состоят из одних костей. Всю плоть иссушил жар, сожгло солнце, оставив на черепе и на фалангах пальцев сморщенную черную кожу.

Солдаты не опускали автоматы, шурились на слепящий свет. Качался на виражах, описывал стрекочущие эллипсы вертолет. Другая машина в стороне трепетала винтами. Суздальцев, подойдя вплотную, чувствовал, как пахнут животные, сухой, исходящий от погонщиков запах дыма и блеклой материи, ровный жар накаленных тел, в которые впились бесчисленные лучики, отраженные от песчинок кварца. Испытал внезапную усталость, разочарование. Белуджи не были перевозчиками оружия. Дикие, чураясь встреч, скитались по пустыне, разбивая в безлюдных местах свои черные шатры, питаясь крохами, которые им дарил пустыня. Не им офицеры пакистанской разведки доверяют вести караван с драгоценным грузом. Не их обучают искусные инструкторы приемам борьбы с вертолетами, методам конспирации, тактике ближнего боя.

Солдаты осматривали поклажу. Протыкали мешки стальными штырями, прислушиваясь, не звякнет ли железо, не упрется ли штырь в железный ствол или мину. Солдат в наушниках водил кольцом миноискателя по полосатой материи, вслушиваясь, не запищат ли наушники, оповещая о спрятанном металле. Что-то слабо похрустывало от ударов штырей. Верблюды чмокали, брезгливо выставляя раздвоенные губы. Позвякивали бубенцы. Командир отряда выхватил из брезентовых ножен десантный нож. Провел по мешку снизу вверх, и оттуда вылезли, посыпались ворохи верблюжьей колючки. Топливо для очага, вокруг которого к вечеру, когда спадет жар, соберется семья белуджей, глядя на маленькое красное пламя.

— Собака афганская, — выругался Конь. Перекинул через плечо автомат. Зашагал по песку туда, где трепетал винтами борт "46".

Суздальцев почувствовал глухую ярость, слепое бессилье, ненависть к замызганному, избитому в кровь афганцу. Тот обыграл их, навел на ложный караван, отвлек от истинного следа. Позволил выиграть еще один день неуловимым моджахедам, которые, минуя оживленные тракты, обходя посты и заставы, тмянут свой груз на север. Туда, где скоро начнут падать вертолеты и штурмовики, и летчики, избегая потерь, страшась смерти, станут забираться в заоблачную высоту, откуда невозможно бомбить и стрелять.

Тот же гнев бушевал в майоре, который шагал по золотому шелку песков, вдавливая грубые отпечатки.

Солдаты залезали в вертолет, разочарованные и усталые, звякали по днищу автоматами, клали у ног гранатометы. Командир стянул кроссовку, сыпал на клепаное днище струйку песка, и из продранного носка вылезал палец с грубым ногтем. Пленники прижались друг к другу плечами, что-то говорили один другому. Гафар падал лбом на плечо Дарвешу, словно искал у брата защиты.

Борттехник хотел закрыть дверь, но Конь остановил его:

— Давай взлетай. Сам закрою.

Гуще, звонче зарокотали винты, всасывая машину в пустоту неба.

Конь рывком дернул с лавки Гафара.

— Твой, говоришь, караван? Обманул меня, пес! Не меня обманул, а Аллаха! А я его не могу обманывать! Обещал тебя наказать!

Он тащил Гафара к дверям, а тот уширался, семеня ногами, одна из которых была обута в калошу, а другая босыми гибкими пальцами старалась зацепиться за днище.

— Маму поцелуй! — через плечо майора, преодолевая шум винтов, кричал Гафар брату. — Маму поцелуй! — глаза его, похожие на черные ягоды, источали тоску, слезную нежность, черный, с золотой сердцевиной страх. — Скажи, я буду ее в раю встречать! Буду в раю встречать! Буду встречать!

Глубоко внизу волновались пески, в открытую дверь врвался тугой воздух. Майор подтащил Гафара к дверям, заслоня им светлый, ревущий проем. Суздальцев видел, как в глазах Гафара загорелась жаркая ненависть, золотистая огненная тьма, и он, напрягая на шею жилы, раскрывая разбитый рот, победно, со счастливым клекотом, крикнул:

— Аллах Акбар!

Майор с силой пихнул его, и тот, выпадая из вертолета, со связанными руками, с бурлящими шароварами, продолжал кричать из бездны:

— Аллах Акбар!

Суздальцев смотрел, как майор захлопывает дверь, набрасывая на ручку стальной хомутик. Дарвеш сидел, заломив за спину руки. Поднял вверх бороду и плакал.

Они возвращались из Регистана, избрав параллельный маршрут, безо всякой надежды обнаружить караван. Сброшенный с вертолета афганец был герой, мученик за веру. Но не вызывал у Суздальцева ни восторга, ни сострадания. Еще одна смерть, которая повлечет за собой другую, быть может, его, Суздальцева. Все они были включены в бухгалтерию войны, которая суммирует число смертей, набирая из них последнее, завершающее, после которого война, насыщенная смертями, стихает.

Он снова думал о докторе Хафизе, афганском разведчике, который скоро придет с караваном и доставит драгоценные сведения, после чего начнется разгром пакистанской сети, аресты в кишлаках, допросы и пытки пленных. Страна, в которой произошла революция и длилась война, была рассечена и расколота. Была черно-белой, как голова доктора Хафиза.

Они достигли края пустыни, песок стал распадаться на отдельные круглые барханы, желтые полумесяцы и исчез, сменившись каменными утесами, от которых ложились причудливые фиолетовые тени. Сверху утес казался плоским пятном, но его тень выдавала резной контур вершины, и казалось, кто-то старательно обводит утесы кистью с фиолетовой краской.

Суздальцев подошел к кабине. Борттехник сидел на железном насесте, укрепленном в дверном проеме. Уступил Суздальцеву место. Сквозь стекла кабины был виден летящий впереди борт "44", каменистая поверхность, где каждый каменный выступ был окружен фиолетовым мазком. Суздальцев, замороженный мерным рокотом, усыпляющим металлическим звоном, смотрел на проплывавшие тени, отыскивая в них сходство с изображением животных, предметов, человеческих голов. Он увидел губастого, с поднятыми ушами верблюда. Следом — свернувшегося, с мохнатой спиной кота. Угадал в фиолетовой тени пеликаний клюв и выступающий зуб. Одна тень была по-

хожа на кулак, сжимающий флаг. Другая, своими прямоугольными уступами — на мавзолей. Он углядел горбатый нос, оттопыренную губу, курчавую шевелюру, — узнал жильца дома, в котором проживал в детстве. Это был страдающий одышкой еврей, от которого пахло одеколоном, и который дарил ему при встрече завернутый в фантик леденец. Еврей давно умер, но не исчез, а переселился в пустыню. Он увидел полную, воздетую руку, которая принадлежала учительнице математики, когда та, стиснув пальцами мелок, рисовала на доске формулы. Учительница внезапно покинула школу, куда-то переехала, и теперь было понятно куда — в афганскую пустыню. Вдруг ему померещилась темно-фиолетовая прядь волос, округлая щека, мягкий овал подбородка, — это была часть лица Вероники, и если взглядеться в глубину фиолетовой тени, можно было угадать пунцовые губы, воздетые брови, страстные сияющие глаза.

Он вдруг увидел зыбкие огненные струйки, летящие от земли в сторону борта “44”. Вереницы раскаленных пузырьков, которые излетали из тени и мчались к вертолету. Там, откуда они излетали, мерцала колючая вспышка, словно работала электросварка. Так выглядело с высоты дульное пламя крупнокалиберного пулемета, чей ствол был поднят в зенит, а рукояти сжимали кулаки моджахеда, который выцеливал пролетающую пятнистую машину.

Трассы искали в небе вертолет Свиристеля, и тот, уклоняясь от попаданий, отшатнулся в сторону, косо сверкнул винтом и лег в просторный вираж, удаляясь от колючей зеркальной вспышки. Файзулин повторял его маневр, что-то выговаривая в шлемофон. Суздальцев всматривался в тень, откуда стрелял пулемет, различая какие-то постройки, смутные комочки, прилепившиеся к склону сопки. Это был малозаметный кишлак на краю пустыни, сиротливо притулившийся у подножья горки. Здесь могли обитать пастухи, охранявшие скудный колодец, дающие приют выходящим из песков караванам. Могла остановиться на отдых боевая группа “духов”, собиравшая силы для очередного броска в кандагарскую “зеленку” — место непрерывных боев.

— Лёня хочет зайти на них, поскоблить из “нурсов”, — крикнул обернувшийся Файзулин, и на лице его было особое шальное выражение. Такое бывает у мальчишек, которые подкрадываются к дикой кошке, чтобы свистом гнать ошалелое животное.

Суздальцев надел оставленный борттехником шлемофон, и в ушах забулькало, зашипело, измененный электроникой голос Свиристеля произнес:

— “Сорок шестой”, пройдешь следом, поработаешь пулеметом, изви их в качель! За Мишу Мукомолова, понял, “сорок шестой”?

— Понял, “сорок четвертый”, вас понял! За Мишу Мукомолова поработаю!

Обе машины удалились от стреляющей горки, сделали круг и стали к ней приближаться. Борт “44”, идущий ниже, осторожно менял курс, словно выбирал в небе место, из которого удобнее нанести удар. Они шли вдоль гряды, тень от которой напоминала зазубренную пилу. Суздальцев увидел, как из фиолетовых зубьев полыхнула молния, снизу вверх хлынули раскаленные струи, плеснули огненные ручьи. Погасли в пустоте, не задев вертолет. Снова возникли, сосредотачивая свой поток на пути вертолета, который шарахнулся, стал уходить из-под огня. Так могла стрелять сдвоенная зенитная установка, “зэгэу”, которую “духи” устанавливали в кузове грузовичка, позволявшего быстро, после произведенных выстрелов, менять позицию.

— По тебе стреляют, “сорок четвертый”! Лёня, уходи влево, — звучал в шлемофоне, окруженный хрипами, голос Файзулина.

Вертолет уходил из-под огня, а длинные щупальца хватали его в небе, впрыскивали красную жижу, подбрасывали, а потом отпустили и ушли в сторону, исчезая в бесцветной пустоте. Вертолет уходил, окруженный дымом, с исчезающим блеском винта.

— “Сорок шестой”, я ранен, сажусь! Прикрой, Равиль!

— Лёня, Лёня, держись!

Файзулин летел следом, и казалось, он хочет поднырнуть под падающий вертолет, удержать его в воздухе, унести прочь от смертельных очередей.

Суздальцев чувствовал эту страстную устремленность, видел, как наклоняется вперед Файзулин, отчаянно торопит машину, тянется к другу, хочет закрыть собой.

И внезапная, ослепляющая, как прозренье, мысль. Это он, Суздальцев, передал Свиристелю вместе с часами свою судьбу. Он наделил его своей смертью. Он находится сейчас в горящей машине, тянет на себя рукоять. В его гибнущем теле кровоточит смертельная рана. И надо отозвать эту смерть обратно, взять ее на себя, вновь вернуть Свиристелю его счастливую долю, его удачную судьбу, его жадное стремление жить. Но не было сил, не было воли и мужества. И, зная, что совершает неотмолимый, подобный убийству грех, он отстранялся, отталкивался от дымящего вертолета. Спасался от смерти, оставляя в ее объятьях другого.

Словно отыскав подбитую машину по предсмертному возгласу, вновь заработала зенитка. Точно, без промаха, всадила в вертолет два параллельных жидких огня. Пилила фюзеляж, из которого валил дым, сыпались искры, и машина начинала жутко вращаться, заваливалась. Из черной копоти тоскливым птичьим криком прозвучало:

— Прощайте, мужики! — кончился треск в шлемофоне.

Вертолет падал, а его до земли провожали струи огня, пока он не рухнул. Пятнистый, перевернутый корпус. Черные колеса шасси, словно скрюченные птичьи лапы. Отлетающая жирная сажа.

Все это видел Суздальцев из кабины, когда они прошли на “бреющем” сквозь дым подбитой машины, пропуская рядом спаренную трассу зенитки. И чувство облегчения — смерть его миновала. И чувство позора — он повинен в смерти другого.

Подбитый борт “44” дымил на склоне, и Файзулин посадил машину у подножья, на каменистую площадку, из которой выступали зубья черного кварца. В открытую дверь первым кинулся командир спецназа, выманивая солдат, но не послал их к подбитому вертолету, а уложил полукругом, пряча за камни, создавая круговую оборону. Майор Копь, захватив автомат, шурясь от гремящих винтов, побежал вверх, туда, где чадил пятнистый фюзеляж. Суздальцев, испытывая тоску, толкаемый чувством вины и каким-то отчаянным суеверным бесстрашием, бросился догонять майора, вырываясь из вихря жгучей кварцевой пыли. За ними большими скачками бежал командир группы и пятеро солдат с гранатометами. Они бежали вверх, приближаясь к вертолету, когда сверху, от вершины, ударили очереди. Выбивали из кварца черные брызги, и все, кто бежал, упали на склон, зазмеились, выбирая лунки и камни, защищавшие их от выстрелов. Очередей становилось больше. Суздальцев видел, как на вершине скапливаются “духи”, — их белые и голубоватые балахоны, пузырящиеся в беге шаровары, пышные матерчатые ворохи на головах. Одни стреляли, присев, от живота. Другие бежали вниз, были видны их бороды, развешенные накидки, поблескивающее в руках оружие. Весь склон был в бегущих моджахедах, которые возникали на вершине, задерживались, выпускали наугад автоматные очереди и начинали сбегать вниз, туда, где чадил вертолет.

— Козлы бородатые! — хрипел майор, стреляя из-за камня и снова прячась, загоняемый очередями за каменный выступ. Солдаты ударили из гранатометов, и было видно, как взрывались на склоне гранаты, и одна, срикошетив, отскочила и лопнула в воздухе. Там, где вспыхивали короткие взрывы, упало несколько атакующих, но их оббегали, стремясь к дымящему вертолету.

Суздальцев понимал, что те добегут первыми, захватят тела и машину. Беспомощно оглянулся, сознавая бессмысленность своего порыва, который кончится неминуемой гибелью. При этом продолжал верить в свою неуязвимость, как если бы смерть уже израсходовала себя, забрав Свиристеля.

Он увидел, что вертолет, в котором остался Файзулин, блестя кабиной, оторвал от земли колеса. Завис, закачался, колыхаясь с бока на бок. Из-под брюха пышно польхнуло огнем. Хрипло ударило. Над головой пронеслась ревущая лавина огня, впилась в гору. Склон вскипел, забурлил, вышвыривая расплавленный камень, изрыгая душное пламя. Залп “нурсов” накрыл

гору. Когда дым начал вяло стекать с горы, Суздальцев увидел, что повсюду лежат разбросанные люди в чалмах и накидках, изуродованные ударом. Другие цепко карабкались на склон, бежали, не оглядываясь, скрываясь на вершине.

— Хорошо врезал Файзуля! — майор Конь вскочил, набычив лысую голову. Тяжело побежал, как бегут в гору лыжники, широко расставляя локти. Суздальцев кинулся следом.

Вертолет лежал косо, помяв винты, изогнув завитком хвост. Пятнистый фюзеляж был взлохмачен попаданиями. Входные отверстия вгоняли металл внутрь, выходные были окружены алюминиевыми лепестками. Дверь была сорвана, и из проема валила мутная гарь. Суздальцев, вслед за майором, проник в отсек и увидел на днище борттехника, окруженного тлеющими огоньками и струйками дыма. Он был жив, лежал на спине, совершая волнообразные движения, как если бы по нему прокатывалась непрерывная судорога. Оба летчика были мертвы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Грузовик с телами въезжал в расположение части. Навстречу гурьбой торопились вертолетчики, шли офицеры штаба. Стоял на крыльце под линялым флагом командир батальона. Из столовой, из помещений кухни и прачечной выходили женщины. Внезапно в солнечной пустоте, где чуть слышно рокотал грузовик, истошно, по спирали, взвился крик:

— Леня, Ленечка! Ты жив, ты жив! — расталкивая женщин, из столовой выбежала Вероника. Косынка съехала с черных волос. Глаза, слепые от ужаса, смотрели на грузовик. Руки были вытянуты вперед, будто она издалека хватала грузовик, цеплялась за дощатые борта, падала на доски кузова, на которых лежали убитые, и стояли на коленях военврач и фельдшер, держа над раненым борттехником капельницу. — Леня, ты жив, ты жив! — Вероника бежала за грузовиком, а ее останавливали подруги, обнимали, силой уводили вглубь строений, где на солнце висели сухие стиранные простыни.

Суздальцев прошел в офицерский модуль, в свою комнату. Сбросил пыльные ботинки. Сwoлок окровавленную куртку и брюки. Упал на кровать. Лежал, сжав веки, под которыми плыли и сталкивались видения. Фиолетовые тени, напоминавшие людей и животных. Красные волдыри пустыни. Черные, как вар, лица погонщиков. Кисточки крашеной шерсти на шеях верблюдов с подвешенными бронзовыми колокольчиками. Падающий на камни, с кудрявым дымом, вертолет. Огоньки, перебегавшие по телу борттехника. Вырванный, на красной нитке, глаз Свиристея. И неотступно, еще и еще — черная, глянцевиная, с малиновой сердцевинкой калоша.

Зрелища возникали, менялись местами, накладывались одно на другое, словно крутилась разноцветная карусель. Он переносился из одной люльки в другую. Перескакивал с пыльно-коричневого верблюда на пятнистый вертолет. Из грузовика с откинутыми бортами в черную, с малиновым зевом калошу. Голова плыла от вращения карусели, он не мог остановить дурное кружение, зная, что оно вызвано кружением земли.

Забывая, словно его умаяли летящие по кругу видения. Очнулся, когда небо за окном начинало зеленеть, и мимо модуля, стуча башмаками, прошагал взвод охраны. Отчужденно, словно вернулся после долгого отсутствия, он оглядел свою комнату. Над кроватью, на грубом ремне висело старинное афганское ружье с коваными деталями, “полкой” для пороха, щербатым от времени смуглым стволом. Над столом красовалась карта Афганистана с линиями караванных путей, пролежавших из Кветты через пустыню Регистан к Кандагару и на север, к Герату. На подоконнике лежала газетная кипа. Переложенные газетами, хранились засушенные растения, собранные им в афганских горах и пустынях. Драгоценный гербарий, запечатлевший на узорных листьях, линялых цветах и душистых корнях таинственную страну, где ему суждено воевать и, быть может, расстаться с жизнью. На столе —

электрический чайник и трофейный кассетник, и тут же, с лысым стволом и облезшим прикладом, автомат, который он не успел поставить в угол.

Он лежал и думал о провале операции. Надежд на перехват каравана со “стингерами” почти не осталось. Окончательным свидетельством провала должны были послужить сообщения о сбитых в районе Герата вертолетах и самолетах, о потерях среди летного состава. Эти потери не изменят ход войны, лишь внесут в нее дополнительное остервенение и жестокость. Его, Суздальцева, остервенение и жестокость.

В дверь постучали. Прапорщик Корнилов просунул свое сонное, грубо слепленное лицо, напоминавшее картофельный клубень:

— Товарищ подполковник, товарищ майор послал доложить, что баня готова. Он уже в бане. Так что просил звать.

Суздальцеву вдруг захотелось смыть с себя пыль пустыни, набившиеся в поры гарь и чужую кровь. Совершить омовение, в котором пар, кипяток и хлесткие удары веника выжгут навязчивое и больное чувство, что это он, Суздальцев, повинен в смерти Свиристея. Он обменялся со Свиристедем часами, поместил его в роковой для себя отрезок времени, в котором смерть настигла не его, а другого. Это было тихое безумие, которое рождало не боль, не раскаяние, а реликтовую тоску, которую испытывал дикарь под бубен шамана, вручая ему свою душу.

— Скажи майору — иду!

Баня размещалась в отдаленном углу гарнизона, была окружена саманной стенкой. Парная, сбитая из зарядных ящиков, тщательно отшлифованных, без маркировки и краски. “Каменка” из железной бочки, полная металлически-серых, напоминавших метеориты камней. Брезентовый тент от солнца, под которым находились деревянные лежаки, все из тех же зарядных ящиков, накрытые серыми шерстяными одеялами. Небольшой округлый бассейн, выложенный изразцами от разрушенной мечети, нежно бирюзовыми, с геометрическим орнаментом и арабской вязью. Это было единственное место, где душа отдыхала от изнуряющих пустынь, серой брони, стреляющих сопок.

Майор Конь уже побывал в парной, сидел на лежаке, красный, умягченный, с бисером на лбу, выпученными голубыми глазами. Поглаживал голый череп, которому досталось от раскаленного жара.

— Ну, Корнилов, ну, зверь! — говорил он, поднося к губам пшальку зеленого чая. Громко всасывал, с наслаждением выдыхал, все больше покрываясь блестящими каплями. — Я тебе говорил: “Приготовь баню, а ты — коптильню!”

Прапорщик Корнилов совлекал с себя тусклую, пепельного цвета одежду, обнажая великолепное, с рельефной мускулатурой тело, покрытое ровным загаром. Слово он был завсегдатаем морского курорта, где пляжные атлеты демонстрируют эллинские бицепсы, икры и дельтовидные мышцы. На его груди, покрытой белесой шерстью, красовалась татуировка — орел распростер крылья до самых подмышек. Когтистые лапы сжимали геральдический щит с аббревиатурой “ОКСА”, что означало “Ограниченный контингент Советской армии”. Совершенное античное тело увенчивала невыразительная бутристая голова, словно до нее не добрался скульптор и оставил ее в виде неоконченной заготовки.

— Да, скажу я тебе, Петр Андреевич, банька — единственная отрада человеку, которого, Бог знает за какие провинности, засунули в эту дыру и держат здесь, как собаку. Ни тебе красивых дам, ни изысканных вин, ни благородных разговоров. Одно свинство. Но банька — она и дама, и букет в благородном вине, и изысканный собеседник. Вот посмотришь. Когда Афганистан станет советской республикой, на этой баньке повесят мраморную доску с надписью: “Здесь мыл свое брненное тело майор Конь, который проклял эту долбаную страну, а она прокляла его”. Давай, Петр Андреевич, вкуси первый парок!

Суздальцев разделся, захватил простыню. Стыдясь своей наготы, открыл дверь парной, сунулся в туманное золотистое пекло. Почувствовал, как лизнули его огненные языки. Положил простыню на доски, сел и ссутулился,

глядя на свои голые ноги. Железная бочка была полна седых от жара камней. От них, извлеченных из расплавленной сердцевины земли, шел ровный испепеляющий дух, от которого доски зарядных ящиков стали сухими, звонкими, с проступившими каплями смолы. Тело, соприкасаясь с прозрачным пламенем, начинало таять. Из него вытапливались больные соки, улетучивались страхи, испарялась усталость, умягчались узлы и рубцы. Оно покрывалось стеклянной пленкой, блестящей оболочкой, как сосуд, в который незримый стеклодув посылал свой огненный выдох. Суздальцев чувствовал, как его сотворяют вновь, создают ему новую плоть, вдувают новую сущность. Он был благодарен тому, кто столь заботлив к нему, не оставляет в своих попечениях на этой азиатской войне, возвращает утраченные веру и силы.

Дождавшись, когда сердце стало расширяться от жара, высочил из парной и кинулся в бассейн, слыша звон воды, погружаясь в лазурь, чувствуя восхитительный холод. Кто-то целовал его нежными прохладными губами, покрывал поцелуями лицо, плечи, грудь. Мимо глаз текли изразцы разгромленной мечети, на них завивались куделью арабские письма. Он прочитал обрывок надписи: “Чтоб укрепить ваши сердца и этим утвердить ваши стопы...”. Священный текст, разорванный попаданием снаряда, был извлечен из моленной и вмурован в пол офицерской бани. На него наступали ноги, истертые о броню, о камни пустыни, попирали его. Но и попираемый, текст продолжал оставаться священным. Был обращен и к нему, Суздальцеву.

В парной прапорщик Корнилов, подпоясанный простыней, играя мускулами, охаживал эвкалиптовым венником майора, который выл, фыркал, хрипел от наслаждения и боли, словно прапорщик пытал его, как это он делал с пленниками, полосуюя вздрагивающее тело ременной плетью. Орел на груди банщика махал крылами, эмблема “ОКСА” ходила ходуном. Майор выпучивал дико голубые глаза, вздрагивал толстой спиной, на которую от ударов ложились розовые рубцы, орал:

— Корнилов, бей своих, чтобы чужие боялись! Корнилов, зверюга, шибче!

Суздальцев дождался, когда оба они, с набрякшими телами, покинут парную и плюхнутся в воду. Уселся на горячие доски, на которых высохли и сворачивались тонкие листья эвкалипта. Взял венник, завезенный в пустыню из субтропиков Джелалабада, где вызревали диковинные плоды и цвели благоуханные розы. Стал легонько похлестывать себя ворохом листьев, пахнущих смолой, оставляя на теле не больные ожоги, а розовые нежные пятна. Кропил себя душистыми каплями, умачал благовониями, и ему казалось, что тело, сотворенное волшебным стеклодувом, покрывается тончайшими узорами, изысканными письменами, в которых содержатся всё те же вечные истины и божественные смыслы.

Баня в этой жестокой пустыне, где горели вертолеты и умирали от взрывов люди, была моленной, в которой воскресал его сокрушенный дух и умягчалось очерствелое сердце.

Они лежали под брезентовым тентом, над которым гасло бирюзовое небо, и вода в бассейне, успокоенная после падающих тел, казалась слитком зеленого стекла. Приготовленный прапорщиком чай благоухал мятой и горечью трав. Был целебным отваром, для которого изрезанная гусеницами и обожженная взрывами земля сберегла свои жизнотворные силы. Продлевала существование людей, словно надеясь на их преображение.

Прапорщик принес кальян из розового стекла, запалил огонь, насыпал табак, смешанный с дурманым зельем. Майор Конь, прикрыв чресла простыней, потягивал пьяный дым, блаженно закрыв глаза, почмокивал мундштуком.

— Ах, Петр Андреевич, какого блаженства себя лишаешь. Если бы знал, что видят глаза и слышат уши, — майор мечтательно сомкнул веки с белыми жесткими ресницами, выпустив душистый дымок.

— Что видишь, что слышишь? — Суздальцев смотрел, как отлетает дымок, как вскипает пузырьками кальян, чувствуя, какое блаженство испытывает этот ожесточенный, огрубевший человек, не шадивший на войне ни себя, ни других.

— Представляешь, как будто передо мной листают книгу с персидскими миниатюрами, “Бабурнаме” или “Шахнаме”. Если бы ты знал, как я любил в университете перелистывать эти дорогие фолианты, отпечатанные в Англии. Вижу великого Бабура, который мчится на белом жеребце в погоне за розовыми антилопами. Охотники с седел стреляют из изогнутых луков. Грациозные лани перескакивают через горный ручей. Вижу великолепный пир, на коврах восседают гости, множество драгоценных блюд и сосудов, музыканты играют на тонких дудках, и босоногая танцовщица усаждает гостей своим восхитительным танцем. Еще вижу дивный сад с кустами роз, с зелеными деревьями, на которых поют райские птицы, и задумчивый поэт гуляет по тропинкам сада, складывает рифмы о великом царе. — Майор Конь, не открывая глаз, улыбался, и из его улыбающихся губ сочилась дымная струйка, напоминавшая арабский завиток.

— Я ведь тебе говорил, что окончил университет, истфак. Диплом на тему: “Этика жизни и смерти в персидской поэзии”. Писал стихи на фарси. Ты можешь не верить, но я выучил наизусть множество глав из “Шахнаме” по подлиннику, что хранится в Британском музее.

— Почитай что-нибудь, — попросил Суздальцев, любуясь на недвижимую, словно камень, драгоценную воду, в которой отражалось бирюзовое небо и застыли лазурные изразцы.

— Слушай, дорогой подполковник, мудрость востока, к которой нам с тобой посчастливилось прикоснуться — Конь открыл глаза, в которых странно переливались бирюза и лазурь. Всплеснул рукой с неожиданной грацией, как если бы перелистывал страницы старинной рукописи с утонченной миниатюрой. Стал читать на фарси, удивляя Суздальцева изысканностью произношения, передающего музыку аристократического стиха.

Никто не вечен, хоть живи сто лет.

Всяк осужден покинуть этот свет.

И будь то воин или шах Ирана,

Мы дичь неисчислимого аркана...

Наступит время, всех нас уведут

На некий Страшный, на безвестный суд.

Длинна иль коротка дорога наша, —

Для всех равно. Дана нам смерти чаша.

Как поразмыслить, то сейчас навзрыд

Оплакать всех живущих надлежит.

— Понимаешь, подполковник, всех! И тебя, и меня, и Свиристеля! И этого Гафара, который упал с вертолета! И Дарवेशа, которому я завтра вставлю в зад электрод! Всех нас надлежит оплакать горькими молитвенными слезами. Но пред этим всех расстрелять! И тебя, и меня, и эту собаку Дарवेशа, который заставляет меня, знатока восточной поэзии, мечтателя и философа, вставлять ему в задний проход электрод! И доктора Хафиза, которого нелегкая принесет из Кветты, и мы должны будем разгрести их афганское дерьмо! Ненавижу! — он крутанулся на лежаке, так что хрустнули кости и сильней покраснели нанесенные эвкалиптом рубцы. — Ненавижу эту чертову страну и этот чертов восток! Ненавижу их хари, их бороды, их воющее тряпье, их лживые глаза, в которых собачий страх и одновременно презрение! — майор сел, набычив голову, с гуляющими на шею жилами. — Я допрашивал эту суку Гафара, бил палкой по пяткам, наплевывал на голову пакет, топил в ведре, рвал у него на глазах Коран. Он не выдал тайну. Он герой, мученик. А я злодей. Я, русский офицер, интеллектуал, востоковед, должен возиться в дерьме, чтобы потом всю жизнь себя ненавидеть, скрываясь под чужим именем, как военный преступник. Вот через несколько дней приедет с караваном твой легендарный доктор Хафиз, и мне опять участвовать в облавах, нюхать эти зловонные шаровары, слушать эту брехню, которые они повторяют под палками. Себя ненавижу, их ненавижу, эту чертову страну ненавижу, эту гребаную войну! Сбросить бы сюда атомную бомбу, чтобы разом накрыло и нас и их, и это по-божески! Ненавижу!

Он вскочил, рухнул в бассейн, распахнув воду, так что она хлынула через край. Ушел, пузырясь, на дно и лег среди расколотых изразцов и священных надписей. Ненависть выходила из него серебряными пузырями.

Суздальцев вернулся в свой модуль и, перед тем как улечься спать, сделал в рабочий журнал несколько кратких записей. Умозаключения по поводу последних донесений из Кветты доктора Хафиза. Анализ радиоперехватов. Краткое описание сегодняшнего полета в пустыню. Предполагаемый маршрут завтрашнего, вероятно, завершающего полета, от колодца Бахадир до приграничного, у самого Пакистана, колодца Зиарати-Шах-Исмаил, после которого тематика “стингеров” закрывается, передается в разведотделы Герата и Шинданта. А он и его помощник Конь станут ждать возвращения из Кветты доктора Хафиза и вместе с офицерами “хада” начнут выкорчевывать пакистанскую сеть. Облавы в кишлаках, аресты, дознания.

Он представил себе красивое, с белозубой улыбкой лицо доктора Хафиза, с которым познакомился в разведшколе в Ташкенте. Должно быть, так выглядели черноусые воины Бабура, атакующие врагов на белых слонах. Или гордые ликами ратники Александра Македонского, пришедшие из Эллады в оазисы Кандагара и Герата. Доктор Хафиз доставит драгоценную информацию, а сам вернется в Кветту с попутным караваном, где его, быть может, ждет разоблачение, пытки в пакистанской контрразведке.

Некоторое время он сидел под лампой, чувствуя, как блаженно дышит, после всех злоключений, его усталое тело, с которого огненный пар, эвкалиптовый эликсир и лазурная влага смысли дневные кошмары и мучительные наваждения. Кончилось его раздвоение. Кончилось помрачение, связанное с переселением душ. Он был равен себе самому, немолодому, усталому, не слишком удачливому подполковнику военной разведки, уцелевшему и на этот раз в ходе боевой операции. “Сейка” в облупленном, из фальшивого золота корпусе отсчитывала общее для всех на этой войне время, из которого выпадали, но не могли его остановить отдельные жизни. Суздальцев выключил лампу и лег в кровать, готовясь уснуть, слыша, уже в полусне, отдаленный печальный выстрел, действующий как капля снотворного.

Увидел, как дверь в его комнату растворилась, и появилась тень. Остановилась у порога, зыбкая, неразличимо-темная, готовая скользнуть обратно.

— Кто? — спросил он, приподнимаясь. От порога шагнула к нему и быстро уселась на край постели Вероника, вся в темном — то ли в платье, то ли в нижней сорочке. Ее черные волосы в слабом свете окна блестели. Также блестели, дрожали, влажно переливались глаза. Ее лицо, голые, перехваченные бретельками плечи, обнаженные руки оставались светлыми. И он чувствовал, как от этой, не покрытой тканью белизны исходил жар, горячее больное волнение. Казалось, она дрожит в мучительном ознобе, ее бьет дрожь, она явилась к нему, находясь в бреду, перепутала дверь, слепо заблудилась.

— Вероника, ты?

— Расскажи, как погиб Лёня! Ты видел, как он погиб? Его не могли убить! Я поливала клумбу. Он меня все время просил: “Поливай, Вероника, и я не погибну!”. Он жив? Ну, скажи, он жив?

Она наклонялась к Суздальцеву, старалась в темноте разглядеть его лицо, старалась узнать в нем Свиристея. И Суздальцеву казалось, что он снова сходит с ума. Недавнее наваждение вернулось. Его опять подменили. Его сущность опять переселилась в другого, того, кто с раздробленной головой лежит сейчас в холодной яме, накрытый брезентом. А тот, в кого угодил снаряд, тот не умер, а живой, дышащий, сидит в распахнутой постели. Женщина своим первобытным чутьем угадала в нем любимого, пришла на ночное свидание.

— Я всё знаю. Я же колдунья, цыганка. Вы поменялись часами. Ты, ты погиб вместо Лёни, а Лёня жив, жив. Вместо тебя живет. Ты Лёня! Ты Лёня! Ты Лёня! — она жарко шептала, и ее сумасшедший шепот был колдовским заговором, шаманским клетотом, неистовым бредом, которым она отрицала смерть любимого человека, перекладывала эту смерть на Суздальцева, убивала его. Воскрешала своего жениха, своего ненаглядного.

Она протягивала руки, быстро, жадно ощупывала его лицо, стараясь угадать знакомые черты, гладила его голову, стараясь отыскать на ней хохолок.

— Вероника, да это я, Суздальцев. Я видел, как погиб Леонид, — он отстранялся, боялся ее ищущих рук. Она казалась пьяной. Быть может, накурилась того дурманного зелья, что продают на рынке расторопные торговцы в чалмах. Костяной ложечкой подцепляют из коробки. Бросают на медную чашку весов косматую щепотку сухой травы. И если ее заварить и выпить из белой пиалки. Или положить в кальян и сладко вдыхать. Или просто жевать, проглатывая терпкую слону. Ты почувствуешь, как улетучивается твоя бременная плоть, как чудесно исчезает время, как пропадают имена, и мир становится восхитительным виденьем, волшебным отражением в округлом стеклянном сосуде, висащем на трубочке стеклодува.

— Мишу Мукомолова любила, он обещал меня в жены взять. Говорил: “Вернемся в Союз, разведусь, буду с тобой жить. Уедем в Крым. Мы “чеки” с тобой скопили, купим квартиру, машину, заживем”. Вот и зажили! Мишу Мукомолова в фольгу завернули и к жене отправили. Потом с Лёней Свиристым сошлись. Как он меня любил! Называл: “Цветочек мой, Вероничка”. А я его: “Лёнчик, мой летчик”. Говорил мне: “Вернусь в Союз, разведусь с женой, ты мне будешь жена. Уедем в Сибирь, я армию брошу, стану геологом на вертолете возить. Купим машину, квартиру. Ты мне детей родишь”. Вот и родила! Завтра Лёню в фольгу завернут и к жене отправят. И тебя отправят! Смерть вам жена. А вы ей мужья!

Она сжимала Суздальцеву руку, и он чувствовал, как из ее пальцев льются в него безумные горячие токи, от которых ему становилось дурно, сладко, безумно, и он в ответ сжимал ее руку.

— Лёнчик, мой летчик! Ты жив! Ты жив! Ты жив! Ты жив!

Она потянула вверх сорочку, и на поднятых руках зашелестел, затрепетал розовый невесомый сполох. Внезапным ночным зрением он увидел ее наготу. Близкий дышащий живот с темной лункой пупка. Выпуклое, с фарфоровым отсветом, бедро. На ее воздетых руках еще трепетал розовый разряд электричества, а он уже видел темную кудель у нее подмышкой. Близкий, темный треугольник лобка. И ту отчетливо различимую границу загара, ниже которой начиналась светлая ложбинка, разделявшая полные груди с черными, как оливки, сосками.

Она сбросила с поднятых рук сорочку, сильно, душно легла на него. Жадно целовала, бормоча бессмысленно и безумно, погружая и его в душевное, слепое безумие, в торопливое бормотание, в котором его губы, задыхаясь, сами собой выговаривали: “Цветочек мой, Вероничка!”

Она ушла, не прощаясь. А он лежал, не ведая, что сотворил. Украл у мертвого товарища женщину или, напротив, продлил мертвецу жизнь...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Офицеры стояли перед штабом, на котором был приспущен линялый розоватый флаг, изъеденный песчаными бурями и ядовитым солнцем. В стороне собрались гарнизонные женщины — поварихи, прачки, официантки, и среди них Суздальцев видел Веронику, ее черный платок, темные, в слезном блеске глаза. И вторая большая мысль — эту женщину он вчера обнимал, видел ее напряженную спину с глянцевиной от пота ложбиной, подставлял ладонь под тяжелую горячую грудь с плотным соском. А в это время ее любимого заворачивали в жуткий серебряный фантик, склеивали скотчем фольгу. И от этой мысли — головокружение, словно от толчка, колыхнулась под ногами земля.

Комбат произнес прощальную речь. Караульный взвод разрядил в воздух автоматы. Вертолетчики подхватили носилки и понесли с плаца на выход, мимо мешков с песком, мимо свалки с консервными банками, к площадке, на которой стояли две вертолетные пары. Одна из них с “грузом 200” поднялась и потянула к Кандагару, к рейсу “Черного тюльпана”, а другая, с бортовыми номерами “46” и “48” осталась в распоряжении батальона на случай экстренного боевого вылета.

Солдаты ушли в казармы, офицеры возвращались к картам, телефонам, к рутинной гарнизонной работе. Суздальцев догнал Веронику, которая всё смотрела в пустое небо, где растаяли вертолеты.

— Я хотел тебе сказать... — он попробовал тронуть ее загорелую руку. Она отшатнулась, дико на него посмотрела:

— Уйди! Ненавижу! — и почти побежала прочь. А он, чувствуя бритвенный надрез, оставленный на лице ее взглядом, угнетенный, зашагал в сторону глинобитного строения, где проводились допросы пленных.

В комнате с саманными стенами находились все тот же стол, табуретки, потресканный, в пластмассовом кожухе телефон, цинковое ведро с водой, плавающая в ней кружка, сложенная простыня с чернильным штемпелем. В комнате уже был майор Конь, в спортивном костюме, пахнувший после бритья одеколоном. Два прапорщика, Корнилов и Матусевич, одинаково большие, с круглыми тяжелыми головами, какие бывают у скифских каменных баб с едва различимым носом, ртом и бровями.

— Петр Андреевич, или мы сегодня получаем информацию и летим на “реализацию”, или можно писать рапорт начальству о провале операции и ждать, когда карающая рука сковырнет с наших погон звезды и поставит на нашей карьере кресты. — Майор был зол, под глазами набрякли мешки. Было видно, что после вчерашней бани он еще пил, и его мучает жажда. Он черпнул из ведра кружкой. Жадно глотал, проливая воду на грудь.

— Свиристея сбил не “стингер”, а двуствольная зенитка, — Суздальцев смотрел, как у майора из углов рта текут две водяные струи. — Есть надежда, что ракеты все еще не пересекли пустыню. Ясно, что Гафар, которого ты выкинул из вертолета, тянул время. Пожертвовал собой, чтобы выиграть еще один день. Значит, на счету у них каждый день. Значит, караван с ракетами уже в пути, и у нас в запасе есть сутки-другие. Допросим Дарвеша, пусть выдаст маршрут. Доктор Хафиз указал на обоих братьев, как на ключевые фигуры в транспортировке ракет.

— Я, конечно, не имею счастья быть знакомым с доктором Хафизом, — Конь кинул кружку в ведро, и она поплыла, тихо звякнув о цинковый край. — Когда мы, наконец, познакомимся, я спрошу у него, почему его наводки оказались фальшивками, и вместо ракет нам досталась резиновая калоша.

Суздальцева удивило, что майор, как и он, заметил оставшуюся на вертолетной площадке калошу. Ее блестящую резиновую поверхность и алое нутро, из которого вчера, во время ночного безумья, вырвалась ослепительная вспышка.

— Доктор Хафиз вернется из Кветты через несколько дней, и ты его можешь спросить, — отозвался Суздальцев. — Давай ближе к делу.

— Корнилов, черт тебя дери, веди сюда этого афганского Олега Кошевого, — зло приказал майор.

Кулак прапорщика толкнул Дарвеша в комнату для допросов, и сразу же распространился запах прели, пота и чего-то еще, едкого, как муравьиный спирт. Руки афганца были скручены за спиной. Под рыхлой грязной чалмой срослись густые черно-синие брови. Сильный мясистый нос выступал из черных усов и бороды, похожих на затвердевший вар. Глаза с красноватыми белками полыхали яростной тьмой, в которой страх и ненависть менялись местами, отливая фиолетовым, золотым и огненно черным. Среди этой бушующей тьмы оставалась неподвижной крохотная точка в середине зрачка, которая, казалось, вела в иное, таинственное, по другую сторону глаза, пространство, в которое не было доступа Суздальцеву.

— Ну, садись, — Конь грубо толкнул афганца на табуретку. — Привет тебе от брата Гафара. Он велел передать, что очень жалеет по поводу того, что обманул меня. Сейчас он лежит на песке в пустыне, и за ночь лисицы съели его лицо, желудок и отгрызли яйца. Он говорит, что та лисица, которая отгрызла яйца, долго плевалась и кашляла.

Конь сверху вниз смотрел на пленного, как смотрят на футбольный мяч, по которому скоро ударят. Дарвеш задрал вверх бороду, так что обнажилась жилистая шея с крупным кадыком.

— Мой брат Гафар в раю и слушает блаженную музыку, от которой забываются все земные боли и невзгоды.

— Я готов тебе устроить свидание с братом, но тогда что будет делать ваша больная мама, ваши жены и дети и весь ваш кишлак, на который случайно могут упасть бомбы? Давай лучше побеседуем, как друзья, ты мне кое-что скажешь, и я отпущу тебя к твоей доброй маме, к твоим родственникам, которые очень волнуются за тебя. Присылали человека узнать о твоём здоровье.

— Вы, господин, будете снова спрашивать меня о том, чего я не знаю. Будете бить меня, я буду кричать от боли, но вы не узнаете того, что хотите узнать. Потому что я это не знаю, — он шевелил пальцами в своих стоптанных сандалиях, и Суздальцев заметил, какие красивые, без мозолей, не изуродованные обувью у него пальцы с чуть видными черными волосками.

— Ну, хорошо, давай всё по порядку, — Конь сел верхом на табуретку перед пленным, наклонил свой голый, покрытый загаром череп и благожелательно стал спрашивать, как спрашивает у нерадивого ученика терпеливый учитель.

— Ты признался, что когда был в Кветте, ходил на базар и покупал верблюдов. Значит, ты готовил караван для перевозки через границу оружия.

— Никакого оружия, господин. Только товар. Китайская посуда, тайваньские часы, индийский стиральный порошок, радиоприемники из Гонконга. Только товар, господин!

— Тот, у кого ты покупал верблюдов, снабжает верблюдами моджахедов, перевозящих из Кветты оружие?

— Нет, господин. Верблюдов мне продал доктор Ахмед, которого все знают в Кветте. Он очень богатый торговец, у него несколько магазинов, он держит верблюжью ферму и занимается на рынке обменом денег.

— А как он выглядит, этот доктор Ахмед?

— Как все пуштуны, господин. Как я. Только одна половина головы у него черная, а другая белая, как будто ее посыпали мукой.

Майор Конь посмотрел на Суздальцева. Пленный не лгал. Доктор Хафиз, называвший себя в Пакистане доктором Ахмедом, жил под личиной богатого торговца, который снабжал верблюдами боевые группы моджахедов, перевозивших оружие. От доктора Хафиза исходили сведения, согласно которым два брата, Гафар и Дарвеш, были причастны к переброске “стингеров”.

— Не обманывай меня, Дарвеш. Наши разведчики есть в окружении доктора Ахмеда. Они слышали, как ты выбирал самых выносливых верблюдов, говорил, что эти верблюды должны быть сильнее вертолетов. Это значит, что они повезут ракеты, которыми можно сбивать вертолеты.

— Нет ничего сильнее вертолетов, мой господин. Вертолеты разрушили кишлак Хаш, где жила моя сестра, и в живых остались только собаки.

— В кишлаке Хаш только собаки и жили, — усмехнулся майор. — Ты мне скажи, Дарвеш, — когда и где пройдет караван с ракетами? Где ты должен был его встретить? У колодцев Ходжа-Али, Палалак?

— Не знаю, господин, о чем вы таком говорите.

— Корнилов, помоги вспомнить дорогому Дарвешу, — Конь встал с табуретки, ловким ударом отправляя ее в угол. — Поговори-ка с ним по телефону.

Прапорщик сбил с головы афганца чалму. Рванул с его плеч ветхую хламиду, и она с треском распалась. Усадил на стол так, что ноги его повисли. Стянул с него шаровары, обнажив белые, не ведающие загара ноги, с которых со стуком упали сандалии. Прапорщик Матусевич ловко и грубо распутал веревку на запястьях афганца, повалил его на стол и, посвистывая, прикрутил его руки и ноги к ножкам стола. Афганец лежал голый, широкогрудый, с литыми мускулами, вздернутой бородой и клочковатым черным пахом. Водил по сторонам выпуклыми ненавидящими глазами, издавая оскаленным ртом странный шипящий звук.

— Я тебе буду в телефон говорить: “Дорогой Дарвеш”. А ты мне отвечай: “Алло”. Только не громко, а то твоя мама услышит.

Корнилов поставил на табуретку растресканный полевой телефон. Размотал двухцветную жилу, разделенную на два провода — синий и красный.

К обеим проводам были припаяны медные пластины. Корнилов потер их наждачной бумагой, счищая зеленоватую окись, и шлепнул одну — на лоб афганца, другую — на его вздрогнувший живот. Прапорщик Матусевич с проворством санитаря подхватил лежащую на окне простыню, встряхнул. Накинул на живот афганца, пропустив концы под столом, стягивая в тугой узел. Распустил тряпичную чалму и туго обмотал голову пленника, прижимая ко лбу медную пластину.

— Пить охота, — сказал Конь, черная из ведра воду. Жадно пил, бурля в кружке ртом. Недопитую воду плеснул на простыню, которая пропиталась и прилипла к животу афганца. Корнилов подхватил ведро и плеснул на пленника. Тот охнул, напряг мускулы, вода текла на пол, и сквозь мокрую полупрозрачную ткань был виден темный пупок, медная пластина и курчавые волосы паха.

— Алло, дорогой Дарвеш, как слышишь меня? — майор схватил трубку полевого телефона. Прапорщик Матусевич извлек из углубления в телефонном корпусе ручку “динамо”, стал яростно, с хрустом, крутить. В ответ раздался истошный вопль афганца. Матусевич вращал рукоять. Из открытого белозубого рта рвался непрерывный крик боли. Глаза выдавились с красными, готовыми лопнуть сосудами. Тело дрожало и билось. Мускулы на плечах напряглись и вспотели. Сквозь мозг и распухшее тело, в желудок, в пах, в семенники била незримая молния. Майор, склоняясь над пленным, заглядывая в его выпученные глаза, кричал в трубку:

— Алло, Дарвеш, как слышишь меня? Скажи, дорогой, когда пойдет караван. Сколько верблюдов? Названья колодцев? Где и когда?

Матусевич отпустил ручку. Крик прекратился. Афганец бурно дышал, выплевывая слюну, и казалось, на его груди, там, где находилось сердце, набух волдырь.

— Соberись с мыслями, Дарвеш, и скажи, когда и где пойдет караван. Лучше скажи. Иначе я буду использовать тебя, как изолятор на электрическом столбе. Где и когда?

— Ничего не знаю... Не мучьте меня, господин... — вываливая распухший язык, произнес пленный. — Аллахом клянусь, ничего не знаю!

— Ну вот, опять телефонный разговор! — Конь приподнял трубку. Прапорщик Корнилов скинул рубаху, обнажил могучую волосатую грудь, на которой распростер крылья грозный орел. Схватил рукоятку телефона и стал яростно крутить, направляя в бурлящее тело афганца жуткую непрерывную молнию, от которой тот хрипел, дрожал щеками, издавал звериный рев, брызгая слюной.

Суздальцев чувствовал, что где-то в дрожащем теле присутствует знание, которое афганец невероятными усилиями удерживает в себе. Чужая боль вызывала у Суздальцева ответное страдание, которое он гасил уколами анестезии. Беззвучно повторял: “Так надо. Так надо”. Казалось, все в нем начинало неметь и гложуть. Но кто-то незримый, заглядывая в пыльное оконце, требовал: “Смотри!” И он смотрел на искрящую под мокрой простыней пластину. На бугрящийся пах, в котором судорожно поднималась в предсмертной похоти плоть. На махающего крыльями орла, схватившего когтями аббревиатуру “ОКСА”. На безумное, с хохочущими глазами лицо майора, который склонился над истязаемым и, казалось, впитывал его боль, его крик, его хрипящее дыхание.

— Хорош, — Конь остановил Корнилова, который отирал локтем взмокший лоб. — Ну ты, собака, последний раз спрашиваю, где и когда пройдет караван. Иначе я буду пропускать через тебя ток, пока ты не превратишься в аккумуляторную батарею. Где и когда, собака?

Афганец обмяк, его закрытые веки дрожали, в них скопился пот. Из губ на бороду текла кровавая слюна. Грудь дышала с переборами, будто сердце замирало, а потом начинало бешено биться.

— Не знаю, господин... — пролепетал он, ворочая синим искусанным языком. — Клянусь Аллахом!

— Давай, Корнилов, прочисть ему током кишки!

— Не надо, господин... Я скажу... Караван с ракетами вышел из кишлака Путлахан... Я должен его встречать у колодца Дехши...

— Когда должен встречать?
— Сегодня.
— Сколько верблюдов?
— Шесть.
— Сколько ракет?
— Не знаю. Мне сказали, чтобы я не боялся. Если к каравану подойдут вертолеты, их собьют ракетами.

— Спасибо, дорогой Дарвеш. Ты настоящий друг! — произнес Конь и по-русски, резко повернувшись к прапорщикам, приказал: — Этого козла с нами в вертолет! — хлопнул по плечу Суздальцева. — Вот, подполковник, как надо работать. Надо знать закон Ома. На входе — амперы, на выходе — информация. Айда к вертолетам!

Вертолетная пара с бортовыми номерами “46” и “48” готовилась к взлету. Отряд спецназа — всё те же солдаты в панاماх, длинноногий командир с туго набитым “лифчиком”, похожий на кенгуру, — грузили на борт гранатометы, миноискатели, рацию. Запрыгивали в отсек, усаживались на скамьях. Прапорщик Корнилов, в форме, в “лифчике”, с автоматом, подсадил в вертолет Дарвеша, и тот, истерзанный, в разорванной хламиде и в мокрой, просевшей чалме, бессильно рухнул на железное сиденье, уложив на колени длиннопалые, онемевшие от веревок руки. Майор Конь наставлял Файзулина и командира второго борта.

— В зону действия ПВО не входить. Выдерживать высоту и дальность. Дальность выстрела “стингеров” — до пяти километров, высота поражения — до трех с половиной. Увидишь караван, сразу на боевой разворот, и души всем, что есть, — Конь оглянулся на вертолеты, у которых барабаны были набиты снарядами, висели на подвесках ракеты, тускло отливали воронеными стволами пулеметы и пушки. — Давай сюда карту! — он водил по карте пальцем, указывая на ней кишлак Дехши, и от него сектор пустыни, где предстояло встречать караван. — Среди погонщиков находятся инструкторы, способные бить из “стингеров”. Что значит по-английски “стингер”, знаете? — пилоты мотнули головами. — “Жалящее насекомое”. Вроде шершня. В задницу укусит, и больше не сядешь.

— Постойм, — хмыкнул Файзулин, шлепнул себя по ягодицам и пошел к вертолету.

Они взлетели и взяли курс на солнце, слепившее кабину.

Суздальцев остро смотрел в пески. Ум был ясен, зрачки зорко следили, мышцы были тонкими, гибкими, готовыми к броску, к бегу. Стремительно приближался момент, искупавший долгие недели поисков, тягостные ожидания, злое бессилие. Не напрасны были допросы пленных, пытки электрическим током, гибель Свиристеля, безумная и преступная ночь с Вероникой. Не зря они неделями висели в огненном небе пустыни, расшифровывали радиоперехваты, изучали агентурные сводки доктора Хафиза. Весь размытый, расплывчатый рисунок борьбы сходилась в точку вертолетного удара, в огненный фокус победы. Суздальцев смотрел на приборную доску, на которой, среди циферблатов, были индикаторы ракетных пусков, залпов неуправляемых реактивных снарядов.

Два раза на оранжевых песках они видели занесенные остовы разбитых “тойот”, — тех, что месяц назад подбил Свиристель по точным наводкам доктора Хафиза. Следы от машин исчезли, запорошенные песком. Сами “тойоты” казались окруженными туманным облачком, словно вокруг них дымились бесчисленные песчинки.

— Лёня поработал! — сказал в шлемофон Файзулин, — Теперь за Лёню мы поработаем!

Впереди возникла малая темная точка. В бинокль Суздальцев разглядел одинокого верблюда с едва различимой поклажей. На горбе, похожий на вторую верблюжью голову, возвышался погонщик.

— Разведчик, — крикнул в ухо Суздальцеву Конь. — Обойти стороной, не спугнуть основной караван.

Вертолеты ушли с курса, обманывая наблюдателя, делая вид, что покидают район. Летели по широкой дуге, словно развешивали над пустыней не-

видимую сеть. Улавливали добычу, обкладывали флажками, чутко выслеживали дичь. Суздальцев испытывал нетерпение, азарт охотника, предвкушение удачи.

Впереди, у горизонта, возник едва различимый прочерк. Быть может, мираж, сгусток жаркого воздуха, в котором тонули лучи. Черточка отделилась от горизонта, снова слилась. Отслоилась и стала приближаться. В бинокль Суздальцев разглядел вереницу верблюдов, запаянных в стеклянный жар. Их число менялось, они то сливались, то разделялись, пока не превратились в отдельные темные бусинки, нанизанные на незримую нить. Казалось, вертолеты чутко дрогнули, заострились, ярче проступили цифры на бортах, словно в машинах появилась свежесть, хищная устремленность. Через пространство пустыни они вошли в контакт с медлительными животными, оседлавшими их людьми. Прочертили между собой и ними невесомые прозрачные нити.

— “Сорок шестой”, вижу цель! — зарокотало в шлемофоне.

— Цель вижу, “сорок восьмой”! — отозвался Файзулин — Иди на сближение, на сближение! Бей с ходу, бей с ходу! Почеши их “нурсами”, “нурсами”! Я добавлю ракетами. Потом поработаем пушками. За Лёню! За Свиристеля!

— Есть за Лёню, за Свиристеля! Почешу их всем, что имею!

Злее звенели винты. Вертолеты соединяла блестящая струна. Их несли вперед воющая сила, словно вслед машинам дула труба.

Суздальцев торопил стремление машин. Они шли наперерез каравану. В бинокль было видно, как верблюды пустились вскачь, понукаемые наездниками. Он ждал, что оттуда, где бежали животные, и клубился под их ногами песок, и на горбатых спинах восседали наездники в тюрбанах, — откуда прынут кудрявые трассы, станут ввинчиваться в небо, приближаясь к вертолетам, и летчики, спасаясь от попаданий, бросят машины в противоракетный вираж.

Но выстрелов не было. Караван приближался. Головной вертолет по-рыбы нырнул. Застыл на мгновение. От него, в продолжение полета, рванулись к земле заостренные клинья, черные, мерцающие огнем ураганы. Было видно, как вокруг каравана встали рыжие фонтаны песка. В песчаном облаке мерцало, рвало, падали и шарахались верблюды, летели в стороны закутаные в балахоны люди. Продолжая снижение, вертолет брызнул из-под брюха огнем. Черные клювы впились в землю, превращаясь в сплошное дрожащее пламя. Казалось, громадные пальцы пробегают по клавишам, и под каждым пальцем взрывается тусклый огонь.

Вертолет, завершая удар, отвернул, показав круглое блюдо винта. Суздальцев почувствовал, как дрогнула штанга, на которой сидел, как машина наполнилась гулким колокольным ударом. Из-под кабины вперед ушли две дымные колонны. Удаляясь, сошлись, превращаясь у земли в шары огня. Будто кто-то сгреб караван, отшвырнул в сторону, оставив на песке две круглые, полные дыма рытвины.

— За Лёню! За Свиристеля! — кричал в шлемофон Файзулин, долбя из пушек пыльное, скрывшее караван облако. — За нашу Родину, огонь, огонь!

Они отвернули в пустыню, барражировали в стороне, ожидая, когда рассеется пыль.

— Сажусь, “сорок восьмой”! Прикрой! — Файзулин пошел на снижение.

Они выпрыгивали из вертолета в песчаную бурю, поднятую винтом, один за другим, все, кроме прапорщика Корнилова и понурого, истерзанного афганца. Легкие, упругие в приземлении солдаты. Их длинноногий, как скороход, командир. Тяжеловесный майор Конь. Суздальцев прыгнул последним, ощутив ногами мягкость бархана, а лицом уколы бесчисленных песчинок, хруст на зубах, жаркое полыхание пустыни. Старался, не открывая глаз, выбраться из-под ревущего вихря. Бежал за солдатами, видя, как те рассыпаются веером, держа автоматы, готовые слепо, не прицельно открыть огонь.

Там, где шел караван, реяло туманное облако, сквозь которое неясно различались разбросанные взрывами животные, бесформенные груды покла-

жи. Оттуда в любую секунду мог раздаться треск очередей, и тогда — падать на бархан, огрызаясь выстрелами, ждать, когда второй вертолет, получив от радиста сигнал, пойдет на удар, добывая из неба уцелевших стрелков, осыпая солдат спецназа колочими, на излете, осколками.

Но выстрелов не было. Суздальцев бежал на пыльное, пронизанное солнцем облако, чувствуя, как в воздухе струится гарь и запах жареного мяса, словно где-то дымился мангал с разложенными шашлыками.

В песке темнели две воронки от удара ракет, их дно было влажное, еще не прогретое солнцем, и по скатам воронок стекали легкие струйки песка. Суздальцев охватывал жадным взором пеструю картину разгрома, стараясь углядеть среди растерзанных груд зеленые пеналы с ракетами, деревянные ящики с маркировкой, где мог храниться драгоценный груз. Не находил, останавливая взгляд на отдельных фрагментах картины.

Разбросав костлявые ноги, мучительно изогнув шею, лежали убитые верблюды. У ближнего было распорото брюхо, и на песок вывалились мокрые глянцевитые внутренности. У другого был посечен бок, с множеством параллельно идущих надрезов, словно животное полосовали ножом. Из надрезов сочилась красная гуща, касалась песка и впитывалась, образуя темные ступки. Третий верблюд мучительно оскалил желтые зубы, словно пытался загрызть нападавшее с неба чудовище. У него из горла торчал невзорвавшийся реактивный снаряд с лепестками стабилизаторов. Еще один верблюд был ранен, приподнимал и ронял губастую голову, издавая длинные стоны, и из фиолетовых глаз текли слезы. Пятый, уцелевший верблюд бежал иноходью далеко в пустыне, перебирая длинными ногами, изгибая шею, окруженный стекляннным миражом, и казалось, что он не касался земли.

На барханах, взрылленных взрывами, рябых от осколков, лежали погонщики. Взрывная волна расшвыряла их в разные стороны, и они напоминали тряпичные куклы своими балахонами и неестественными позами, словно у них не было костей. Старик с коричневым лицом и седой бородой завалился, перегнувшись назад, словно смерть застала его на молитве, а удар сломал ему позвоночник и опрокинул на спину. Беззубый открытый рот старика еще хранил в себе крик то ли боли, то ли проклятия, то ли оборванной смертью молитвы. Недалеко, лицом вверх, лежал юноша, совсем еще мальчик, безусый, с пухлыми улыбающимися губами. Его смуглый кулак сжимал обрывок материи, похожей на знамя, шаровары были разорваны, и из них торчали два сверкающих костями обрубка, словно горящие красным огнем головни. Он был похож на знаменосца, сраженного во время атаки. Еще один погонщик был ранен, — приподнялся на локте, костлявой пятерней зажимал себе живот, и пятерня была красной. Он не смотрел на Суздальцева, а только тихонько всхлипывал, вбирал живот, в котором перекачивалась, выталкивала кровь нестерпимая боль. Другие погонщики лежали в стороне на склоне бархана, впечатанные в желтизну песка.

Солдаты, уже не опасаясь отпора, бродили вокруг, нагибались, что-то подбирали. Среди них, в отдалении, двигался майор Конь, который, как и Суздальцев, медленно перемещался, глядя себе под ноги. Оба обходили побоище в поисках груза с ракетами.

Песок был усеян бесчисленными осколками посуды, черепками расписных сервизов, обломками тарелок, фарфоровых ваз и стеклянных сосудов. Некоторые изделия уцелели, — лежали тарелки с золотой каймой, словно кто-то накрыл на бархане стол. Изыщный, с тонким горлом кувшин, испещренный голубыми узорами, стоял на песке, и рядом, блестя зазубренными краями, лежал осколок. Было странно видеть их рядом, словно кто-то сберег хрупкое изделие, остановив полет металла. Будто капли солнца, блестя на барханах разбросанные взрывами часы. Валялись обломки кассетников, упаковки с электробритвами, продырявленные коробки с электроутюгами. Бугрились ворохи тканей, груды шелка, рулоны ковров. Казалось, кто-то взломал платяной шкаф и вытряхнул содержимое наружу.

— Что за черт! — Конь приблизился к Суздальцеву, держа в руке кисточку для бритвы — волосяной пучок, вставленный в перламутровую рукоять. — Что за черт!

Суздальцев услышал жужжание, увидел промелькнувшую у глаз тень. Еще одна с жужжаньем промчалась, тускло сверкнув на солнце. Он увидел, как на окровавленный бок верблюда села большая сине-зеленая муха. Следом прилетела другая, блестящая, как крохотный слиток. Мухи летели из пустыни, плохались на окровавленные трупы, жадно шарили лапками, начинали сосать. Пустыня, казавшаяся неодоушевленной, ожила, почуввав запах крови. Поодиночке, тусклыми роями летели насекомые, падали на убитых людей и животных, на теплые раны, на сочные внутренности и обрубки костей, принимались за жуткое пиршество. Суздальцев почувствовал большой удар в щеку. Муха приняла его за мертвеца, ползла по щеке в поисках раны. Испугавшись, с чувством омерзения, боясь раздавить жирное насекомое, он смахнул муху. Крутанул головой, заморгал глазами, словно хотел подать насекомым знак, что он живой, его кровь запечатана в сосудах, им не отыскать на нем раны. Они шли с майором среди летящих мух, глядя, как на верблюдах и на людях, вокруг ран, словно вокруг водоноя, копошатся зелено-синие насекомые.

— Посмотри! — поздравил Суздальцева Конь, наклонившийся над телом погонщика. Суздальцев приблизился. Погонщик в зеленоватом балахоне, в широких шароварах плоско лежал на бархане, вытянув по швам длинные руки. Его грудь под полотняной рубашкой была в крови. На открытой шее виднелась золотая цепочка с брелоком. Под черными красивыми усами приоткрылся в улыбке рот, и в нем блестели зубы. Под полузакрытыми веками сонные, с поволокой, отражали солнце глаза. Чалма с головы отвалилась, лежала на песке, и голова с короткой стрижкой была открыта. Эта голова была черно-белой, словно по ней, ото лба к затылку, провели валиком с белой краской. И эту черно-белую, словно из двух половин состоящую голову, и красивые, чуть загнутые на концах усы, и улыбающийся белозубый рот узнал Суздальцев. Это был доктор Хафиз, офицер разведки, с кем познакомился в Ташкенте, несколько раз встречались в Кабуле, в штаб-квартире “хада”, все последние месяцы обменивались агентурными донесениями о продвижении караванов, о перемещении партии “стингеров”, надеясь на скорую встречу в Лашкаргахе. Теперь доктор Хафиз, бесценный агент, лежал на бархане, убитый русским снарядом по приказу Суздальцева. Оба они, Конь и Суздальцев, проиграли схватку с пакистанской разведкой, с афганским шахидом Дарвешем, который под пыткой током указал им ложную цель. Их руками расправился с опасным врагом и теперь, торжествуя, готовится к смерти, ожидая в вертолете их возвращения.

Четыре солдата, взявшись за углы ковра, несли доктора Хафиза к вертолету. Суздальцев шагал сбоку, глядя, как спокойно, вытянув руки и приоткрыв глаза, лежит на ковре доктор Хафиз, словно дремлет после тяжелых трудов. Узоры ковра состояли из сине-золотых геометрических фигур, вытканых на вишневом фоне, и повторяли древний орнамент народов, населявших страну во времена Александра Македонского. Народы бесследно исчезли, оставив после себя загадочную геометрию синих треугольников, золотых меандров на вишневом, мерцавшем ворсинками поле.

— Почему ты подставил под удар своих соотечественников, ни в чем не повинных людей? — спросил Конь у Дарвеша, вытащив его из вертолета.

— Они все теперь в раю, смотрят из неба, как вы несете на ковре убитого предателя. Их души в райских садах, а душа предателя уже корчится на адских углях.

— Сейчас и твоя душа угодит в раскаленную печь!

— Аллах Акбар! — тихо произнес Дарвеш, сделав поворот плечами вправо и влево, как это делают физкультурники во время гимнастики. — Аллах Акбар! — он разворачивал плечи, и его огненные глаза шарили по пустыне, словно искали для себя помощи и спасения. — Аллах Акбар! Аллах Акбар!

Майор поднял автомат, сунул ствол под черную бороду Дарвеша, где в горле клокотала молитва, и выстрелил.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В гарнизоне, в разведотделе, его ждала шифровка из штаба армии. В шифровке сообщалось, что из Центра, по линии нелегальной разведки, поступили сведения о группе иранского спецназа, проникшей в Афганистан из Ирана, с базы Джам, для захвата зенитных ракет “стингер”. Партия ракет предположительно доставлена из Пакистана в Герат. Группой руководит офицер иранской разведки Вали. Группа базируется в кишлаках северо-западнее Герата. Подполковник Суздальцев и майор Конь направляются в Герат, в расположение 101-го полка и действуют в интересах местных разведотделов, продолжая поиски партии зенитных ракет. Для взаимодействия со службой безопасности “ХАД” выделяется офицер афганской разведки капитан Достагир. Офицерам Суздальцеву и Коню надлежит отбыть в расположение 101-го полка незамедлительно.

Конь, прочитав шифровку, хмыкнул:

— Я думал, они сдерут с нас погоны, а они отправляют нас в логово иранцев, которые сдерут с нас кожу. Здесь, Петр Андреевич, не помогут ни “аллилуйя”, ни “Аллах Акбар”, а только то, насколько твоя кожа приросла к костям.

— Приросла настолько, чтобы не хрустеть при обдирании, — вяло отшутился Суздальцев и пошел в модуль собирать вещмешок.

Вертолетом их доставили в Кандагар. Стоя у белых арок кандагарского аэропорта, Суздальцев снял с запястья “сейку” и попросил Файзулина передать Веронике часы на память о Свиристеле. Почувствовал, как вместе с часами его покинуло ощущение вины, словно оторвался от пыльного цветочка пустыни и улетел по ветру еще один лепесток его жизни.

Алюминиевый “Ан-24” дребезжал в полете, словно потерял половину заклепок. На днище, притороченные тросами, стояли грязные дизели. У иллюминаторов на железных скамьях сидели офицеры, клевали носами, попадая в полосы медленно скользящего солнца.

В Шинданте, не заходя в штаб дивизии, они узнали, что на север отправляется колонна порожних “наливников”, и решили вместе с ней добираться в Герат. Пыльные КАМАЗы с цистернами, потеки солярки на выпуклых бортах, вмятины, следы от осколков. В кabinах сидели голые по пояс водители и их смешники, занавесив боковые окна бронежилетами, кинув автоматы под ноги. За ветровыми стеклами красовались картонки, на которых химическими карандашами были начертаны названия городов: “Орел”, “Вологда”, “Брянск”, “Новосибирск”. Вся матушка Русь, приславшая на азиатскую войну своих сыновей, которые тряслись на продавленных сиденьях, крутя баранки.

Суздальцев и Конь сидели на броне головного “бэтэра”. Суздальцев, упираясь башмаками в скобу, держался за дырчатый кожух пулемета, на котором дрожали черные солнечные радуги. Мимо тянулась унылая степь, пепельные холмы, над которыми плавали стеклянные миражи. Изредка попадались заставы — мешки с землей, бетонные амбразуры, сложенные из блоков, казарма, выцветший флаг. Часовой в каске сонно провожал колонну, оживляясь, если читал на картонках название родного города. Тогда бежал вслед за машиной, кричал, и водитель кидал ему пачку сигарет, а он — какой-нибудь афганский ножичек или трофейную зажигалку.

В одном месте, у придорожного кишлака, состоявшего из нескольких полуразбитых глинобитных строений, остановились тягачи с тактическими ракетами — их заостренные корпуса, ребра тягачей, угрюмая слепая мощь механизмов дико смотрелись рядом с глиной домов, бегающими босоногими детьми, мотающей хвостом собакой. Враг, для которого предназначались ракеты, никак не вязался с видом скользящей вдоль дувала женщиной в сиреневой парандже, с пастушком в красной шапочке, подгонявшим прутиком малое стадо овец. Однако враг таился в придорожных, охваченных розовым жаром холмах. Об этом напоминали самодельные памятники, похожие на надгробья. Столбики, пирамидки со звездой, лежащая на камне пробитая каска или выдранный с корнем рулевая баранка. Места придорожных стычек, в которых погибали водители.

Расположение 101-го полка — приплюснутые сборно-щитовые казармы. Клубящееся облако пыли, и в недрах облака, утягивая его за собой, мчится “бэтээр”. Останавливается — выхлопы, гарь, чуть видимые контуры вылезавших из люков солдат. Фанерный раскрашенный щит — боевая машина пехоты карабкается на скалистый откос. Надпись: “Гвардейцы-мотострелки, учитесь действовать в горах!” Строение клуба. Арык с пленкой нефти. Солдат из шланга поливает чахлые, почти без кроны, деревья, и они, взвешенные в спекшийся шлак, жадно пьют воду.

Суздальцев и Конь представились командиру полка, неразговорчивому, с седеющим бобриком, озабоченному недавними потерями на дороге, где был подбит “наливник”. Он сообщил, что скоро состоится войсковая операция в районе Герата, и силы полка в составе дивизии войдут в город, где, как он выразился, “начинают бзить шииты” и “придется им поприщелкать хвосты”. Сослался на занятость и отрядил их к начальнику разведотдела, с которым им предстояло взаимодействовать. Командир разведбата майор Пятаков оказался маленьким, рыжим, с шальными, песчаного цвета глазами, весь в желтых веснушках. Его тело состояло из твердых комков и узлов, позволявших, — как подумал Суздальцев, — мячиком запрыгивать на броню, камнем падать в люк, сменить механика-водителя на сидении, бить из пулемета в подвижную, в чалме и шароварах, цель. Своих солдат он называл не иначе, как “звери”, помнил их не по именам, а по кличкам. Солдаты его называли “батяней”, а те, что увольнялись в Союз, писали ему письма. К Суздальцеву Пятаков отнесся настороженно, зато с Конем сошелся почти мгновенно, перейдя на “ты”.

— Про иранский спецназ не слышал, а убитых в черной чалме находил. Болтаемся, ядренить, по кишлакам, то к “дружественным бандитам”, то просто к бандитам, а кто из них укрывает спецназ, только Аллаху известно. Шиит, он и есть, ядренить, шиит.

Пятаков отвел их в офицерский номер, поселил в двухместной комнате. Сообщил, что через час в гарнизон прибудет представитель афганского “ХАДа”:

— С ними порешаете все вопросы. А вечером, ядренить, я к вам загляну, что-нибудь сообразим на троих, — и ушел, маленький, пританцовывающий, как боксер в наилегчайшем весе.

Встреча с офицером афганской безопасности “ХАД” состоялась в уединенном, на краю гарнизона домике с убранством в восточном стиле. Низенький столик, инкрустированный перламутром. Мягкие скамеечки с кривыми ножками. Ковер на стене с иранским красно-синим узором. На столе — восточные сладости. Арахис, фисташки, миндаль, черно-синий и желто-коричневый изюм — всё в фарфоровых вазочках. Блюдо с кристаллическим желтоватым виноградным сахаром, изящные пшпички. Фарфоровый чайник с зеленым заваренным чаем и маленькие пиалки. Афганский разведчик Достагир был молод, худ, с удлинненными, чуть выпуклыми глазами, как у лани на персидской миниатюре. Это сходство усиливали сиреневые губы и крупный, с мягкими ноздрями нос на коричневом безусом лице. Он осторожно, длинными пальцами, брал из вазочки плод миндаля, расщеплял его розовыми ногтями, брал в рот, обнажая ровные белые зубы. Суздальцев разливал по пиалкам чай, чувствуя тепло, исходящее от круглых боков чайника. Достагир благодарно улыбался. Майор Конь лущил миндаль, громко жевал, небрежно сыпал сор прямо на скатерть.

— Дорогой Достагир, у вас отличный русский язык. Должно быть, вы учились в Союзе? — Суздальцев тонко польстил афганцу.

— В Харьковском технологическом институте, товарищ Суздальцев. Я инженер по мелиорации. Но сейчас революции нужны не инженеры, а солдаты и разведчики. Поэтому я работаю в “ХАДе”, — улыбаясь, ответил Достагир. — Революция — это мелиорация человеческих душ. Сначала мы преобразуем человеческие души, а потом станем преобразовывать землю, строить гидроузлы и каналы.

— Мы в Советском Союзе это делали одновременно, — хмыкнул Конь. — Преобразовывали души и строили Беломор... Балтийский канал.

— Дорогой Достагир, — Суздальцева раздражал громкий хруст орехов в зубах Коня, его неуместная шутка, само его участие в этой деликатной беседе. — Когда мы встретимся с вами в Союзе, я отдам должное вашему знанию русского языка. Теперь же, в знак уважения к вашей замечательной стране, позвольте мне говорить на вашем языке

Вторую половину фразы Суздальцев произнес на пушту. Достагир вслушивался в его произношение, как это делает чуткий дегустатор, пробуя на вкус вино.

— Благодарю вас, товарищ Суздальцев. У вас отличное произношение. Я бы сказал, с легким гератским акцентом. Вам будет легко работать в Герате, — фиолетовые глаза Достагира излучали дружелюбие, а мягкие губы, касаясь краев пиалы, шевелились, словно у лани на водопое.

— Дорогой Достагир, что вы можете нам сообщить о присутствии иранских агентов в районе Герата? Быть может, тех, недавно прибывших, которых интересуют американские поставки “стингеров”?

Афганец задумался, словно старался подыскать наименьшее количество слов для объяснения этой глубокой проблемы.

— Вы знаете, в Герате действуют агенты Ирана и Пакистана. Между ними происходит борьба. Они объединяются, если им нужно поднять очередной мятеж в Герате. И тут же, после подавления мятежа, расходятся, погружаясь каждый в свое подполье. Оружие в Герат поступает по двум каналам. Из Пакистана, из Кветты. И из Ирана, из Джама. За эти поставки идет борьба. Иранцы захватывают оружейные партии из Пакистана, а пакистанцы перехватывают иранское оружие. Мы играем на этих противоречиях, помогая одним громить других. Мы располагаем сведениями об иранском спецназе, который проник в район Герата с заданием перехватить груз “стингеров”. И мы располагаем сведениями о партии “стингеров”, которые якобы уже находятся в Герате, в районе Геванча. Эти данные нуждаются в анализе и подтверждении.

— А нельзя ли без проволочек направить советский спецназ в Деванчу и забрать “стингеры”? Если вы и впрямь располагаете достоверными сведениями? — вмешался Конь, раздраженно хлопая чаем и допуская бестактность, усомнившись в достоверности сведений, добываемых “ХАДом”. — У нас, понимаєте, нет времени анализировать. Нам нужны “стингеры”, а не научные изыскания.

Суздальцева раздражали эти бестактные выходки, которыми Конь подчеркивал свое превосходство профессионала над дилетантом Достагиром.

Достагир был утонченным интеллигентом, быть может, из аристократов, примкнувших к революции.

— Дорогой Достагир, как можно познакомиться с информацией о “стингерах” в Деванче? — Суздальцев старался доверительными интонациями, выражением лица восстановить тонкую канву отношений, оборванных майором. Подхватить их на прерванном звуке.

— У нас есть агент, который живет в Деванче. Он готов встретиться с вами и передать информацию. Но он — не сотрудник “ХАДа”. Говорит, что даст информацию только советской разведке.

— Я готов, — сказал Суздальцев. — Он хочет встретиться здесь?

— Вряд ли это приемлемо. За советским гарнизоном душманы ведут постоянное наблюдение.

— Я готов встретиться с ним в Герате.

— Я передам ему о вашей готовности. Мы, со своей стороны, готовы обеспечить безопасность.

— Давай, Петр Андреевич, я пойду, — обрадовался Конь, которого тяготило промедление в работе и который нуждался в постоянной деятельности.

— Пойду я, — сказал Суздальцев.

— Почему, подполковник?

— Это мое решение, — сухо ответил Суздальцев, которого покорило фамильярное употребление “ты” и неуместное при постороннем панибратское обращение “подполковник”. — Скажите, дорогой Достагир, нельзя ли встретиться с теми, кто располагает информацией об иранском спецназе?

— Завтра, товарищ Суздальцев, состоится операция по выявлению иранской агентуры в кишлаке Зиндатджан. Вы можете принять участие.

— Непременно, — ответил Суздальцев.

Необходимый Суздальцеву контакт был осуществлен. Соглашение о сотрудничестве с “ХАДом” было достигнуто. Они допивали чай, раскалывали щипчиками кристаллический сахар, кидали в пиалки с бледно-зеленым чаем.

Достагир, в элегантном костюме, в белоснежной рубашке и шелковом галстуке был не похож на своих бородатых, черноусых соплеменников в чалмах и шароварах, наводнявших рынки, сидящих в дуканах, падающих ниц в мечетях, идущих по солнцепеку с мотыгами на плечах среди синеватого дыма кишлаков. Он был интеллигент, которого революция поманила своей ослепительной мечтой, и для осуществления этой мечты он был вынужден жестоко сражаться. Он хотел, чтобы советские офицеры, служившие для него образцом, поняли его переживания.

— Сейчас мы, афганцы, воюем и стреляем друг в друга. Империалисты натравливают одних афганцев на других. Но когда кончится война, мы начнем строить новый Афганистан, и наши нищие кишлаки станут походить на ваши цветущие колхозы. А наши города, без канализации, школ и больниц, будут такими же красивыми, как Харьков, Киев, Москва. У меня есть друг — архитектор, который проектирует новый Герат, с широкими проспектами, метро и зданием университета, похожим на МГУ. Но проектами он занимается ночью, а днем, как и я, служит в разведке. Ваша Революция служит примером для нашей Революции.

— Да, наша Революция прекрасна, — Конь сделал серьезное лицо, едва заметно пародируя афганца. — Наши колхозы оглашают окрестные нивы гулом тракторов и комбайнов. Наше метро напоминает дворцы, для которых не нашлось места на земле, и они являются самыми прекрасными в мире подземельями. Наш Университет на Ленинских горах похож на метро, но только поднятое в небо. Когда вы покончите с душманами, приезжайте в Москву, и мы вместе покатаемся у Кремля на речном трамвайчике. Товарищ Суздальцев, я, товарищ Конь, и вы, дорогой Достагир.

Суздальцев был возмущен нарочитой бестактностью майора, но Достагир как будто ничего не заметил. Сердечно попрощался, прижимал руку к сердцу, улыбался своими сиреневыми губами.

После ухода афганца Конь отправился в модуль, ожидая прихода комбата. А Суздальцев, испытывая к майору раздражение, пошел вдоль казарм, над которыми остывало от зноя зеленое вечернее небо, и соседние предгорья, днем бесцветные, блекло-серые, вдруг обрели объем, стали наливать голубым, золотистым и розовым, предвещая вечернюю светомузыку.

На краю гарнизона, где тянулась колючая проволока и открывался сорный пустырь, он увидел остов разбитой машины. Той самой, о которой при встрече упомянул командир полка. Длинная, с прицепом, она была стянута с дороги, продрала голыми обгорелыми ободами коросту пустыни. Ребристый след гусениц, оставленный тягачом, делал у машины дугу и исчезал на бетонке. Машина лежала, расколота страшным ударом, будто у нее в двух местах был переломан хребет, раздроблен лобастый, зияющий провалами череп. Колеса прицепа были вывернуты ободами вверх, как скрюченные обожженные лапы. Цистерны были смяты, сизые от окалины, в рваных пробоинах. От грузовика шел дух солярки, окисленного металла, горелой резины. Сквозь эти жестокие недвижные запахи летел чистый ветер. У обожженных колес Суздальцев разглядел крохотный синий цветочек, нежное, колеблемое ветром соцветие. Поразила соседству железного, созданного и убитого человеком изделия и малого творения природы, которое чудом уцелело, не задетое остановившимся колесом. То же странное изумление он испытал недавно в пустыне, глядя на хрупкую вазу и упавший рядом, пощадивший ее осколок. В этом малом пространстве, разделявшем цветок и обод, в крохотном зазоре между осколком и вазой пульсировала таинственная сила, дышала мило-сердная воля. Угадывался незримый Творец, создавший цветок и машину, вазу и осколок снаряда. Стеклодув, чье дыханье сотворило окрестные горы,

окрасило их в голубой и малиновый цвет, возвысило над головой просторное зеленое небо, поместило под этим небом Суздальцева, машину, цветок.

Он тихонько хлопнул по кабине ладонью, и пустая, с обгорелой баранкой кабина отозвалась печальным звоном. Среди лохматого пепла у прогоревших сидений Суздальцев увидел два обрывка бумаги. Поднял, сдул гарь. С обугленной фотографии смотрело девичье лицо, серьезное, без улыбки, и за ним какое-то дерево, часть кирпичной стены. Снимок неизвестного города, неизвестного дома и дерева был пронесен сквозь пламя. Не сгорел, лишь обуглился. Девушку, еще не жену, не невесту, опалила война.

Другой листок был письмом, прожженным и смятым, с остатками слов. Суздальцев читал, разбирая круглый старательный почерк.

“Здравствуй, Сенечка, родненький наш сыно... Прими приветы и добрые слова от своих роди... Как же я без тебя скучаю, всё сны снятся, всё места себе не... Я Вере наказывала свитер тебе связать... А кошка наша Мурка окотилась, сразу троих... И на твою кровать всех котят перетаска...”

И этот клочок письма тоже был пропущен сквозь пламя. Сквозь него пролетели пули, капли огня и крови. Суздальцев хотел положить его обратно в кабину. Но передумал и спрятал в нагрудном кармане. Сердце слабо дрогнуло, и этот удар сердца, и то, что он не бросил, а спрятал на груди обугленное письмо, тоже свидетельствовало о присутствии в мире Творца, незримого Стеклодува.

Возвращаться в модуль не хотелось. Не хотелось видеть майора, который раздражал его, становился невыносим. Конь, казалось, чувствовал неприязнь Суздальцева и умышленно старался ее усилить. Суздальцева раздражали его вислые, неопрятные усы и синие, навывкат, глаза, наполненные дурным блеском. Раздражала манера громко жевать и сплевывать на землю. Раздражал неуловимый украинский акцент, который проявлялся даже тогда, когда тот говорил на фарси. Было отвратительно его обращение с пленными, то садистское сладострастие, с которым Конь причинял мучения пытаемым. Отвратительным был его ночной храп и дневной лошадиный хохот. И то презрение, которое он выказывал по отношению к стране, куда привела его война. И нескрываемое желание поскорее уехать и забыть навсегда землю, которой он причинил немало страданий. Суздальцев понимал, что подобные же чувства он сам вызывал у майора, и их взаимная антипатия сдерживалась необходимостью совместной работы. Две детали, вставленные в машину войны, они царапали друг друга и искрили.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Два ребристых “бээрдэма”, в которых чудилось что-то лягушачье, болотное, стояли за казармами. Два солдата, голые по пояс, оба худые, гибкие, с юношескими подвижными мускулами, вытряхивали из одеяла пыль, схватившись за углы, вздувая его парусом, опуская с глухим хлопком. Одеяло было доскутное, собранное из цветастых клиньев, шелковых треугольников, серебристых квадратов. Солдаты беззлобно бранились.

— Ну, ты, Лёха, дятел! Теперь мне одеяло положено. Полежал под ним, и хватит! Отдавай, как уговаривались.

— Сам ты дятел, Колян. Мне еще один день положено. Договаривались, — три дня твое, три дня мое!

— Уже три дня прошло. Опять мухлоешь.

В их длинных цепких руках одеяло прогибалось, наполнялось тенью, а потом выгибалось, выплескивая наверх разноцветные брызги. Все еще пререкаясь, они бережно сложили одеяло. Тот, что был покрепче, повыше, с маленькой светлой челочкой на лбу, вскочил на броневик, принял от второго одеяло и исчез в люке. Второй огорченно побрел к соседней машине. Провел рукой по броне, чуть похлопал, как хлопают лошадь. И в этом жесте было что-то деревенское и печальное.

— Здорово, боец, — Суздальцев подошел к солдату, с неясным желанием чем-то утешить. — Значит, отобрали у тебя одеяло. Будешь мерзнуть.

— Да ну его, — мотнул головой солдат, поглядывая на подполковничьи погоны Суздальцева, — неохота связываться. Договорились, три дня у него, три дня у меня, а он мухлюет.

Суздальцев всматривался в худое лицо с шелушащимся носом, с сухими морщинками возле глаз, стараясь угадать в нем еще недавние детские черты, которые стерлись о горячую броню, сухую степь, наждачный ветер предгорий.

— Откуда одеяло? Трофейное?

— Караван душманский из Ирана на нас напоролся. Ночью стоим в засаде, глядим, катят. Без огней, только подфарники, щелки чуть светят. Кто может ночью с подфарниками по сухому руслу? Ясно, “духи”. Мы врезали. Подходим — никого, только подфарники светят. Открыли багажники, а там листовки, плакаты, разные журналы “душманские”. Разобранные пулеметы в брезенте. Мы оружие позабирали, перерезали бензопроводы и подожгли. Мы с Лёхой одеяло углядели. Вытащили из огня. Теперь делим, никак не поделим. У нас дома похужее есть. Бабушка из лоскутиков сшила.

Он отошел, стукнул кулаком в борт броневика, в котором находилось одеяло. Сам погрузился в машину, и оба “бэрдэма” дружно взревели, покатали к штабу.

На территорию полка въезжала военная легковушка с афганским гербом. Из нее вышли Достагир и второй афганец. Достагир был в военной форме, в фуражке с высокой тульей, которая очень шла к его утонченному аристократическому лицу. Афганец был в долгополой хламиде, в безрукавке, в чалме. Из-под черного, пышно намотанного тюрбана смотрели улыбающиеся глаза, под черными, с маслянистым блеском усами улыбались пунцовые губы.

— Познакомьтесь, товарищ Суздальцев, наш офицер Ахрам. Завтра с нами идет в Герат обеспечивать вашу встречу с агентом. Сейчас направляемся в кишлак Зиндатджан. Отлавливать иранских агентов. Вы ведь хотели тоже поехать?

Суздальцев пожимал большую теплую руку Ахрама, исподволь всматриваясь в лицо человека, с которым завтра предстояло пойти на опасное дело.

— Кто такой этот ваш агент? Откуда он знает про “стингеры”?

— Фаиз Мухаммад, живет в Деванча. Знает разные люди. Летал вертолет. Теперь не летает. — Ахрам говорил бойко, ломая русские фразы, и было видно, что ему доставляет удовольствие говорить на русском. Должно быть, подобно Достагиру, он проходил подготовку в Союзе, а вернувшись на родину, был призван в разведку. — Учился в Москве в нефтяной институт, — угадал его мысль Ахрам. Белозубо улыбался, с воодушевлением глядя на Суздальцева.

— Кто он такой, Фаиз Мухаммад?

— Летчик, летал вертолет. Бил “душман”, ловил караван. Отец большой человек в Герат. Хороший человек, доктор, лечил бедных людей. Туран Исмаил пришел к отцу, говорит: “Пиши письмо сыну. Пусть вертолет ко мне сажает. Идет ко мне воевать. Садись, пиши письмо”. Отец не писал. Фаиз Мухаммад летает горы, караван бьет, душман бьет. Туран Исмаил ночью в дом пришел, всех забирал. Отца, мать, жена, дети. Сам письмо писал: “Твоя родной плен. Если вертолет не уйдешь, ко мне не придешь, всех убью”. Фаиз Мухаммад письмо взял, командиру дал. Командир говорит: “Не летай, дети, отец спасай”. Фаиз Мухаммад говорит: “Армия пришел, клятва дал. Буду летать”. Летал, бил караван. Туран Исмаил отец убил, мать убил, жена убил, всех дети убил. Привез, перед дом бросил. Фаиз Мухаммад с ума сошел. Больница лежал. Теперь здоров. С нами дружба. Знает, где ракеты лежат. Только тебе говорит.

— Я готов с ним встретиться. Если возможно, сегодня.

— Встречу надо готовить. Она состоится завтра, — с любезной настойчивостью произнес Достагир. — Сейчас мы едем в кишлак Зиндатджан. Вылавливать иранского агента.

К ним подкатили три “бэрдэма”, усыпанные солдатами, остановились с хрустом колес. Из головной машины показался комбат Пятаков, энергичный, упругий, с лицом чуть помятым после ночных походов:

— Товарищ подполковник, — рапортовал он Суздальцеву, не покидая люк. — Командир полка приказал направить бронегруппу из трех машин для взаимодействия с афганским полком. Можете сесть ко мне в командирскую машину.

Суздальцев увидел, как из люка выглядывает лицо механика, того, что рассказывал о трофейном одеяле. Поставил ногу на резиновый скат, ухватился за скобу, подтянулся, ощутив боль в бицепсе, вызванную тяжестью тела. Солдат с автоматом потеснился, открывая ему место. Афганская легковушка покатила вперед, поднимая пыль. За ней, обгоняя ее, оставляя позади, вырываясь в открытую степь, пошла бронегруппа.

Впереди набухала коричневая клубящаяся туча пыли. Ее густое плотное тело, вырванное из земли, переходило в размытый шлейф, вяло летящий на солнце. Туча приблизилась. Колонна афганских танков с эмблемами на башнях шла наперерез через степь. Крутящиеся катки, приплюснутые башни, колыхание пушек, тусклый блеск гусениц. На броне, сжавшись, упрятав лица в повязки, сидели солдаты-афганцы. Колонна прошла, исчезая в холмах, призрачная, из одного неизвестного пункта в другой, из одной пустоты в другую, из одной безымянной войны в другую войну.

Среди блеклой степи сочно вспыхнули изумрудные посевы. Блеснул арык с водой. Черно-бархатная, орошенная земля была исчерчена яркими зелеными строчками. Вид возделанного пшеничного поля, отвоеванного у мертвой степи, говорил о близости кишлака, о крестьянских трудах, о победе, одержанной упорной жизнью над безжизненной пустыней. Кишлак возник вдалеке своими уступами, стенами, башнями, и броневик, уткнувшись в посевы, свернул на проселок, мчался вдоль поля, которое не пускало его к кишлаку, уводило в сторону.

— Давай, дуй напрямик! — комбат наклонился в люк, посылая в глубину дребезжащей машины сердитый приказ.

Машина ткнулась было в зеленое поле, раздавив колесами зеленые злаки, раздавив влажный бархат пашни. Остановилась.

— Ну, что ты, ядренить, встал. Дуй вперед! — повторил приказ комбат.

Из люка показался механик-водитель, тот самый, что рассказывал Суздальцеву о перехвате каравана, а потом погладил машину особым крестьянским жестом, каким треплют по холке жеребенка или ласкают корову.

— Лучше пообедем, товарищ майор. Хлеб жалко.

— Ты что, сдурел? Кого тебе жалко, дурень! — комбат, готовый разъяриться, наклонился к водителю, направляя в его загорелый, наморщенный лоб луч своего командирского гнева. А у Суздальцева — мимолетное, Бог весть откуда взявшееся видение, — поспевающее поле пшеницы, стеклянный блеск колосьеv, синие васильки у межи, и девушка идет, держа василек, ее подол потемнел от росы, и он так любит ее загорелые ноги, ее золотистый затылок, василек у нее на губах.

— Майор, давай пообедем, — сказал он Пятакову. — На собственные похороны всегда успеем.

Пятаков смотрел раздраженно. В его рыжих глазах горели зеленые точки — то ли отражение зеленого поля, то ли искры раздражения.

— Ладно, водило, дуй в обезд.

Броневик попятился, покатил по целине краем поля, утягивая за собой остальные машины. Катили вдоль нивы, пока ни вывернули на проселок, мягко-пыльный, утоптаный и рябой от овечьих и ослиных следов. Мчались, приближаясь к кишлаку.

Суздальцев услышал сзади, ухватил краем глаза, поймал щекой гулкий удар и проблеск из-под колес второго броневика. Взрыв колыхнул землю и воздух, хрустнул в железном теле машины, сдувая с брони солдат. В черном облаке взрыва промерцало рыжее пламя, и Суздальцеву показалось, что это всё тот же зрак, что утром приветствовал его пробуждение, предлагал прожить этот день.

Колонна встала. Из подбитой фугасом, осевшей на бок машины валил серый дым, с шипеньем бил пар. Разбросанные взрывом солдаты поднима-

лись с земли, оглушенные, шатаясь, подбирали оружие. В железном коробе что-то скреблось и постукивало. С других машин соскакивали и подбегали солдаты, окружали броневик, из которого, как из перегретого котла, сочилась дымки.

Открыли хвостовой люк, и из него показалось белое, с вываренными рыбьими глазами лицо солдата. Оно мелко тряслось, отекало слюной. Он вывалился на руки товарищей. Они отвели его в сторону, и он сел на обочину, белый, трясущийся, оглушенный взрывом.

— Открыть верхний люк! — командовал Пятаков, наклоняясь к контуженному, убеждаясь, что на нем нет крови. — Верхний открыть, ядренить!

Солдаты нервно, в несколько рук, отвалили крышку. И оттуда, из голубоватого дыма, за плечи, за ремень, за китель подняли водителя. И пока извлекали запрокинутую в танковом шлеме голову, опавшие кисти, перетянутое поясом тело, Суздальцеву казалось, что время тянется бесконечно долго, тело водителя страшно длинное, не имеет конца. Его отдаленное прошлое, в котором мокрый девичий подол, смуглые ноги, василек у пунцовых губ, — это прошлое, прилетев в настоящее, сложилось в картину взрыва, в контуженных, сидящих у обочины солдат, в отпечаток ослиного копыта на афганском проселке, в длинное, извлекаемое из броневика тело водителя.

Водителя спустили с брони, уложили в пыль у колес. Его открытые, полные крови и слез глаза, не видя, моргали. На губах возникал и лопался красный пузырь. Солдаты, страшась, расстегивали его, освобождали от ремня и кителя, распарывали и снимали штаны. Освобождалось худое тело, то, что Суздальцев видел утром, его мокрый лоб с мелкой челочкой, голые, казавшиеся очень длинными ноги. Одна нога была согнута под прямым углом, но не в колене, а ниже, где сгиб невозможен. И там, на изгибе, сахарно мерцала кость. Солдаты склонились над раненым. Кто-то вгонял ему в вену пластмассовый шприц, кто-то жгутом перематывал бедро, кто-то вытирал кровавую слизь на губах.

Водитель головной машины наклонился над раненым:

— Лёха, слышишь меня? — он подсовывал под затылок друга ладонь. — Это я, Колян!

Кинулся к подорванному броневiku, вытащил из него лоскутное одеяло, расстелил на дороге. Солдаты положили раненого на шелковые алые клинья, серебрястые прямоугольники, бирюзовые квадраты. Взяли за края, понесли к хвостовой машине.

— Всех контуженных в хвост! У подбитой останутся двое! Остальные на броню, и вперед! — комбат оседлал броневик, дожидаясь, когда запрыгнут солдаты. — Ну ты, ядренить, крестьянский сын! На хрен с дороги! Гони по зеленым! — и, не глядя на Суздальцева, зло сплюнул. Две машины рванулись с дороги, врезались в хлебное поле, помчались, расшвыривая из-под колес кустистые злаки, проминая в поле жирные колеи.

У стен кишлака скопились афганские грузовики с солдатами. Высилась шатровая палатка, возле которой стояли офицеры. Суздальцев, соскочив с брони, увидел среди офицеров Достагира. Тут же был и Ахрам, все в той же темной чалме, черноусый, с короткоствольным, прижатым к бедру автоматом. В палатке, в сумраке, были заметны два человека в тюрбанах, долгопых накидках. Их лица до самых глаз были закрыты повязками, словно они не желали быть узнаваемыми.

— Есть сведения, что в кишлаке скрываются иранские агенты, — сказал Достагир. — Есть или нет, кто знает. Если удастся выявить агентов, может быть, они расскажут об иранском спецназе и что-нибудь расскажут о “стингерах”.

— Что такой грустный, такой бледный? — Ахрам тронул Суздальцева за рукав, заглядывая в лицо своими теплыми, маслянистыми глазами.

Суздальцев рассказал афганцу о недавнем подрыве.

— Дышать больно! — Ахрам схватил себя за горло. — Смотреть больно! — он провел рукой по глазам. — Слушать больно! — он сжал ладонями уши. — Вот тут больно, — он надавил на грудь. — Ваш солдат, моя земля.

Его отец, его мать, его сестра! Как сказать спасибо? Если твой народ, твой дом будет плохо, скажи “Ахрам”! Приду умирать! Приду брать винтовка, брать лопата, что дашь! Придешь в Москва, так всем скажи!

В стороне, на солнышке стоял броневик, на котором прикатил Суздальцев. Пятаков уже топтался среди офицеров-афганцев, обмениваясь дружескими похлопываниями и рукопожатиями. Механик-водитель рассеянно стоял у машины, бил ботиком по скату, не находил себе места. Маленький пыльный смерч танцевал рядом с ним, словно радовался чему-то, вовлекая в свой танец солнечные лучи и пылинки, вертелся под ногами солдата.

Ближний кишлак казался крепостью, обнесенной стеной, с круглыми угловыми башнями, бойницами, с плоскими вышками виноградных сушен. Степь накатывалась на стены шарами стеклянного жара, а за стенами зеленели сады, притаилась жизнь, и чудилось, сквозь бойницы чьи-то тревожные глаза следят за скоплением военных.

Раздалась команда. Солдаты побежали к грузовикам. Залезали через борта, усаживались, выставив автоматы. Зеленый броневик с громкоговорителем встал во главе колонны. Машины тронулись к кишлаку. В воздухе, удаляясь, зазвучал вибрирующий, усиленный громкоговорителем голос, неразличимый, обращенный своим звуком к кишлаку. Булькал, хлопотал, взлетал в раскаленное небо. Ударялся в глинобитные стены и башни, будоража и тревожа укрывшуюся за ними жизнь.

“Вопиющий в пустыне”, — подумал Суздальцев, не уверенный в том, что можно выманить из этой закупоренной жизни ту ее часть, что именовалась агентурой Ирана. Отыскать в теснинах домов и виноградных сушен осторожных лазутчиков, что ночью, при свете луны, устанавливали на проселках фугасы, на легконогих осликах удалялись в пустыню, к иранской границе, препровождавая караваны с грузом пулеметов и мин.

Машины углубились в кишлак. Голос ненадолго умолк и снова возник из-за стен, медленно кружа и блуждая, создавая загадочную аналогию улочек, тупиков, лабиринтов.

— О чем он там говорит? — спросил у Ахрама Суздальцев.

— Зовет люди на митинг. Все люди на митинг. Мужчина на митинг, женщина на митинг, дети на митинг, мулла на митинг. Солдаты машина сажает, сюда vezet. Буду я говорить. Мусульмане, мир, не война. Духманы делал плохо. Кара Ягдас делал плохо. Туран Исмаил делал плохо. Надо их прогонять, винтовку брать, сам себя защищать!

Суздальцев слушал ломаную русскую речь, чувствовал усилия говорившего. Его афганская страсть не помещалась в русский язык, оборачивалась косноязычием. Словесные конструкции напоминали искривленную арматуру, и это утомляло Суздальцева.

— Знаю кишлак Зиндатджан, — продолжал Ахрам, кивая туда, где за глинобитной стеной, невидимый, блуждал великан с мегафонным голосом. — Сюда много раз ходили. Здесь я умер. Здесь я родился.

— Почему ты здесь умер? Почему снова родился?

— Смотри, дерево там! — Ахрам показал в открытую степь, где, похожее на царяину, виднелось засохшее дерево. Такой низкий место. Была река, нету, сухо. Там буровая. Я буровая привез. Под деревом палатка ставил, лагерь ставил. Сам жил, люди, рабочий жил. Дизель был. Я бурил, газ искал. Места для газ хороший. Море был, река был, давно. Земля белый, белый, ракушки. Живем хорошо, день, ночь бурим. Кишлак ходим, вода берем, еда берем. Хорошо!

Суздальцев старался представить, как на месте пыльной степи бушевало древнее зеленое море, крутились волны, перепрыгивали в волнах блестящие скользкие рыбы, а теперь осталось только пыльное дно с белым отпечатком ракушек, и на дне иссохшего моря бушует, не иссыхая, война.

— Сидим вечер, отдыхай, чай пей, рис кушай. Буровая работал, дизель работал. Глядим, лошадь бежит. Человек сидит. Быстро, быстро! Кричит. Кинул камень. Прямо чашка попал, разбил, чай пролил. На камень бумага. Письмо. Туран Исмаил письмо прислал. “Уходите, дети шайтана. Унесите железный башня. Дыру земле засыпь. Придем, будем бить, стрелять”.

Суздальцев закрыл глаза. В вечерней степи, отбрасывая длинную тень, мчался всадник, вздымая красную пыль. Промчался, развевая одежду. Камень ударил в фарфор. Расколотый цветок на земле. Облачко пыли вдали.

— Я людям письмо читал. Кто хочет, иди домой. Кто Туран Исмаил боится, уходи. Двое рабочих ушел. Дети, семья, бояться. Другой остался. Живем, дело делай. Бурим земля. Где газ, ищем!

Металлический голос бродил в кишлаке, рассказывал железную притчу. О войсках и нашествиях. О великих вождях и воителях. О мученьях и казнях. О райских садах и красавицах. Ту притчу, что изложена в великой иранской поэме в переводе с фарси на железный язык мегафона.

— Ночью палатка спим. Бах, трах! Винтовка бьет. “Выходи”! Туран Исмаил пришел, сидит на лошадь. В руках палки, тряпки горит. Кричит: “Сыны шайтана. Мое письмо читал. Не хотел уходить. Теперь я пришел”. Его люди поехал к буровой, мину клал, взрывать. Говорит: “Вы огонь земле искал. Теперь я вам огонь дал”. Меня брал, дизелист брал, другой люди брал. Из канистры солярка лил. На штаны лил, на рубаха, на волосы. Нас зажигал. Больно, страшно. Я упал, умер, в огне сгорел. Утром “бэтээр” меня взял, в больницу вез. Три месяца в больнице лежал, новую кожу получал. Опять жив, смотри!

Ахрам растерялся на груди рубаху, распахнул до живота. Всё — грудь, и живот, и плечи были в рубцах и наростах. Кожа застыла, как лава.

— Туран Исмаил убьем. Буровая поставим. Газ найдем. Будем город делать, завод!

Из кишлака возвращались грузовики. Переполненные, медленно подкатывали в облаке пыли. Из них высаживались, выпрыгивали, осторожно спускались крестьяне. Боязливые, грузные старики. Гибкая, присмирившая молодежь. Робкие женщины в цветных паранджах. Малые пугливые дети. Женщины с детьми отходили в сторону, усаживались на землю в кружок. В цветных паранджах казались разноцветными недвижимыми изваяниями. Мужчины опускались на землю, кто на корточки, кто прямо на сухие колючки. Седые и черные бороды, пышные чалмы, красные загорелые лица с крупными носами.

К людям подошел Достагир и что-то сказал. Лица, как подсолнухи, повернулись к нему. Но стал говорить не он, а Ахрам, громко и страстно, во всю мощь своей обожженной груди, как он только что говорил с Суздальцевым. Он возвышал свой голос, содрогался мускулами, приподнимался на носках, словно хотел преодолеть гравитацию, взлететь и ударить в круг притихших крестьян, разбудить их звуком своего удара о землю.

Он говорил о буровой, о коне, о камне. Показывал в сторону дерева, видневшегося в степи. Изображал буровую. Промчавшегося всадника. Горящих людей. Вонзал в землю перет, словно пробивал ее до сокровенных глубин. Разводил руками, возводя невиданный город, который возникнет здесь, среди миражей и песчаных вихрей. Простирал ладони, преподносил этот город как дар. Дарил им нечто, чем сам владел, что цвело и горело в его громогласных словах.

Но было неясно, принимают ли дар крестьяне. Снимают ли дар с протянутых рук Ахрама. Или в ужасе от него отворачиваются, не желают платить за него жизнью своих сыновей. Им не нужен рай, принесенный из-за гор и морей, а нужен все тот же древний очаг, молитвенный коврик, сухая лепешка.

Ахрам умолк. Бурно дышал. Отирал пот со лба. Пошел к шатру и отдернул полог. И оттуда выскользнули два человека с занавешенными лицами. По плечам, вокруг носов, подбородков, до самых глаз их закрывала накидка. Гибкие, в развеянных темных одеждах, они не имели лиц. Казались скользкими духами. Только в узкие прорези смотрели тревожные, зоркие, полные блеска глаза.

“Предатели”, — подумал Суздальцев. Так в советской разведке называли платных агентов, которые, живя в кишлаках, выдавали своих соплеменников, указывали на тех, кто сражался в отрядах повстанцев, устанавливал на дорогах фугасы.

Люди в повязках вошли в круг сидящих. Стали кружить, петлять. Застывали, наклонялись, продолжали кружить. Это напоминало танец, — гибкие движения, повороты, внезапные приседания, развеянные одежды. Внезапно они замирали над кем-то, приближали глаза, вглядывались. Легонько касались рукой. Тот вставал, выходил из круга. К нему подходили солдаты, отводили к машинам. А двое продолжали кружить, как кружат грифы над степью, высматривая добычу.

Они подняли и вывели прочь того, в синеватой чалме, кого не смог нарисовать Суздальцев. И другого, в розовой рубахе. Десяток людей был выведен прочь, отведен к машинам.

Двое в повязках остановили свое кружение, обвели сидевших глазами и разом пошли к палатке. Скрылись в проеме. Солдаты подсаживали арестованных в грузовик. Остальные крестьяне поднимались с земли, медленно брели к кишлаку, впереди — толпа мужчин в рыхлых тюрбанах, следом женщины в зеленых и голубых паранджах.

— Завтра пойдем Герат, — произнес, прощаясь, Ахрам. — Будем встречать Фаиз Мухаммад. Будем ракеты знать.

На броневике Пятакова он добрался до предместий Герата, где размещались “блоки” боевых машин, готова плацдарм для войсковой операции. Невидимый город лишь угадывался в далекой серо-розовой пыли. В открытой степи на солнцепеке стояли “бэмпэ”. Звякал металл. Солдаты ветошью сбивали с брони пыль. Толкали банник в пушку. Заправщик с урчанием качал в бак горючее. Чумазые, серые от пыли мотострелки, обнаженные по пояс, ополаскивались из ведер. Кричали, хохотали. Опрокидывали на голые спины брызгающие шумные ворохи. Пахло горючим, сталью, разгоряченными телами.

Комбат отправился к дальним “блокам”, а Суздальцев, оставшись у машин, вдруг почувствовал необоримую сонливость, словно его опоили зельем. Бесцветная пыль, слепое солнце, вид тусклых машин подействовали на него усыпляюще. Он влез в десантное отделение “бэмпэ” на грязный, брошенный на днище матрас:

— Немного вздремну, — сказал он крутившимся рядом солдатам. И заснул под мерные звяки, хохот и беззлобную ругань, не пуская в сновидение зеленое, раздавленное колесами поле, персидское одеяло со следами крови, зловещих танцоров в повязках, круживших среди сидящих крестьян.

Проснулся, когда в открытых дверях машины синел прямоугольник ночного неба. Выбрался наружу. Стояла та ясная синяя тьма, в которой еще угадывался недавний исчезнувший свет. Первые звезды одиноко и влажно мерцали. И в очнувшейся ото сна душе воскресла не юность, а воспоминанье о юности, не счастье, а воспоминанье о счастье, не чудо, а его слабый угасающий отблеск.

Крутом на земле светились огоньки, как лампы. В маленьких лунках стояли банки с соляжкой, копотно и чадно горели. Над ними склонились солдаты. Ставили на огонь котелки, алюминиевые кружки, плоские жестянки. Варили, жарили. Тени и свет бежали по лицам, по земле, по броне. То вспыхнет близко к огню расширенный глаз, то сверкнет гусеница, то зашипит, прольется, загорится брызгающее пламя соляжки. У ближней лунки скопились солдаты. На плоской консервной крышке шипело масло. Худой тонкорукый солдат кидал в масло лепешки, в бурлящую трескучую гуцу.

— Товарищ подполковник, присаживайтесь! Поужинайте вместе с нами! — солдат смущало появление среди них старшего офицера. Но то, как Суздальцев непринужденно улегся на их солдатский матрас, в их боевую машину, как непробудно спал среди грохота, криков, раскаленной солнцем брони, расположило их, и они не рассматривали его появление как помеху, испытывая к нему любопытство. — Закусите с нами, товарищ подполковник!

Стряпающий солдат насадил на вилку испеченную, истекающую маслом лепешку, вытащил ее из жира, положил на стопку уже готовых. Кинул в пузыри сырое плоское тесто.

— Не откажусь, — Суздальцев присел рядом, втягивая ноздрями горячий, вкусный запах рукодельного хлеба. — Где печь научился?

— Дома, у мамки. Она печет, а я ей помогаю. Вот пригодилось.

— У него и фамилия — Лепёшкин, — хохотнул рыжий здоровяк, положив тяжелую руку на сутулую спину пекаря.

Все посмеивались, нетерпеливо поглядывали на Лепёшкина, на его страпню. Ждали, когда вырастет стопка вкусного теста.

— Откуда родом? Чем занимался? — Суздальцев спросил рыжеволосого, стараясь этим обыденным вопросом приблизить к себе солдат, чтобы они забыли о его офицерском звании и приняли, как принимают путника кочевники, сидящие у степного костра.

— Я-то? Из Курска. А взяли сюда из Москвы. Я по лимиту в Москве работал, в метро. Я мозаичник-облицовщик. Полы в метро укладывал, узор на стене. Мозаику из яшмы, из лабрадора. Из яшмы клал зеленое дерево, а из лабрадора должен был класть розовых птиц. Да не успел, забрали в Афган. Когда вернусь, найду или нет свое дерево? Интересно, какие на нем птицы сидят?

Суздальцев, подобно кудеснику, легчайшим ударом зрачков оторвал солдата от афганской степи, перенес в Москву, опустил на подземную шумную платформу. Дал насладиться толпой, сверкающим вихрем состава, а когда унеслись голубые вагоны и погас в туннеле улетающий красный огонь, открыл ему мраморный блеск стены, зеленое каменное дерево, сидящих на ветках розовых птиц.

— А ты откуда? Чем занимался до армии? — спросил он кулинара Лепёшкина.

— А я сапожник, из-под Горького, — простодушно ответил Лепёшкин. — Обувь делаю, туфли, босоножки, ботинки. Ко мне все в поселке идут. Я фасон сам выдумываю. Иду по улице, а передо мной босоножки мои цокают. На танцы приду, а там мои туфельки танцуют. На снегу следы от моих сапожек всегда узнаю. Набоекку я одну придумал с узором, вот и девушек по следам нахожу!

Суздальцев и его ударом зрачков перенес в заснеженный городок, где сосульки, сугробы, ломкая корочка льда. Хрустят по голубому снежку красные тугие сапожки. Обернулось в улыбке девичье лицо. И такая русская благодать, такой на березах иней, что галка взлетела, — и долго сыплется с ветки прохладная белая занавесь.

— А вы, близнецы? — он обратился к солдатам, и настороженные совиные глаза, круглые одинаковые головы одновременно повернулись к Суздальцеву.

— Мы из-под Гомеля, скотники, — ответил один.

— Скотники мы, — заверил другой.

— За скотиной ходим, — первый, и, по-видимому, старший, родившийся на минуту раньше, задавал в разговоре тон. — На ферме с батей работаем.

— С батей на ферме, — подтвердил второй.

Суздальцев дарил им возможность побывать в родимом селе. Мычали на ферме коровы, окутывались паром. Вдоль рогов и загривков, вдоль слезных мерцающих глаз скотник катил тележку с кормами, и два его сына в одинаковых полушубках и шапках махали вилами, сыпали корм в кормушки.

— Ну, мужики, угощение готово! Разбирай! — Лепёшкин снял с огня кипящее масло. Пламя в банке полыхнуло выше, светлей. Пекарь раздавал жаркие пышки. Все брали, хрустели. Блестели зубы, зрачки. Шевелились губы. — Угощайтесь, товарищ подполковник!

Суздальцев принял дар, теплую ржаную лепешку, испеченную солдатом в афганской степи.

У него было странное чувство, что он это уже видел однажды. Горящие земляные лампы, военный табор в степи, яркие степные звезды. Предстоящее погружение в теснины азиатского города, где опасная чужая толпа, изразцовая зелень мечетей, нежные запахи роз. Он когда-то об этом писал, сидя за печкой в тесной избушке под колеблемой беличьей шкуркой, слыша сонные вздохи хозяйки. Лесной объездчик, возмечтав стать писателем, он оставил ради этой мечты привычную московскую жизнь, писал свой роман “Стеклодув”, неумелый, наивный, похожий на длинную сказку. В нем меч-

тательный странник покинул родные пределы, оказался в волшебной стране среди восточных мудрецов и поэтов, отважных купцов и жестоких разбойников. Страницы незаконченного, сожженного романа вдруг собрались из пепла. Превратились в живые лица, в молодые голоса, в запах ржаной лепешки, в озаренную корму боевой машины пехоты.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Агент Мухаммад Фаиз, — “источник”, как называл его Суздальцев, — назначил встречу на гератском рынке, в гуще толпы, где их свидание пройдет незаметно. Переодетого в афганский наряд Суздальцева Пятаков доставит на пустое шоссе в окрестностях города, а оттуда Достагир переправит его в Герат, на рынок. В случае если информация о ракетах окажется достоверной, бронегруппа Пятакова подберет Суздальцева, и они проведут молниеносную операцию в городе по изъятию “стингеров”.

— Петр Андреевич, послал бы лучше меня. Зачем тебе дыркой в голове рисковать. А, подполковник? — Конь в утренних сумерках пил воду из носика электрического чайника. В этих небрежных словах, в чмокание и бульканье Суздальцеву почудилось нарочитое непочтение, неверие в его профессиональные качества, тайный намек на неспособность Суздальцева добиться результата. А также тонкое уличение в трусости, предполагавшее в нем готовность переложить риск операции на голову подчиненного. — Ей, ей, Андрееч, лучше бы я поехал.

— Останешься с Пятаковым. Поддержите меня бронегруппой, — сухо ответил Суздальцев, направляясь к дверям, прихватив на ходу пистолет.

В разведотделе, раздевшись, он облачался перед зеркалом в афганское платье, стараясь добиться максимального сходства с афганцем. Погрузил ноги в просторные, землисто-белые шаровары — партуг, перетянув на бедре тесемку. Долгополая, навывпуск рубаха — камис — приятно холодила голое тело. Просунул руки в вольную, без застежек безрукавку — садрый, в которой было свободно плечам. Надел узкую в талии, из легкой ткани куртку — куртый. Не сразу удалось запахнуться в пышное, бледно-голубое покрывало — шарый, и он несколько раз широко жестом перебрасывал его через плечо. Натянул на голову шерстяную тибетейку с продернутой золотой нитью. Сверху, придерживая светлую ткань, возложил чалму, пышную, с небрежно-изящными складками. Сунул в сандалии босые стопы, пройдясь взад-вперед перед зеркалом, стараясь воспроизвести походку афганцев, чуть сутулую, со сдержанными взмахами рук. Укрепил под мышкой кобуру с пистолетом и покинул комнату.

Быстро светало. Небо, малиновое над горами, в высоте было еще синее и холодное, но начинало бледнеть, обещая жаркий безоблачный день.

Пятаков подогнал “бээрдээм”, докладывал:

— Товарищ подполковник, к выполнению задания готов. Как было приказано, доставлю вас на пустое шоссе в шести километрах от Герата. Бронегруппа отправится следом, с интервалом в час, и займет позицию в районе сосновой аллеи. Какие будут приказания?

— Вперед, — сказал Суздальцев, залезая на броню. Спустился в люк, разместившись рядом с водителем. Броневик покинул полк и полетел по шоссе. Скрывшись от пытливых глаз броней, облаченный в восточные одежды, он смотрел сквозь бойницы на мелькавшую обочину, безлюдную степь, далекие утренние горы. Было тревожно, операция казалась непродуманной, таила в себе риски и неожиданности, но не было времени на тщательную подготовку. Риски упустить “стингеры” превышали риски погибнуть. Броневик остановился. Пятаков окунулся в люк:

— Прибыли, товарищ подполковник. Можно выходить.

Суздальцев приоткрыл дверь. Увидел пустое, в обе стороны уходящее шоссе. Серую, шершавую степь с плавной волной предгорий, из-за которых вставало маленькое колючее солнце. Опустил ногу в сандалии на асфальт, подобрал накидку и шагнул на обочину, услышав, как зашуршала сухая тра-

ва. Отошел на несколько шагов от дороги и присел на корточки, по-афгански, чуть раздвинув колени, свесив между колен ткань накидки. Броневик развернулся и умчался обратно, уменьшаясь, утягивая за собой металлическую нитку звука. Суздальцев остался один.

Было тихо, пустынно. Солнце, оторвавшееся от гор, слабо грело затылок. Не было видно строений. Только утреннее, синее, в обе стороны уходило шоссе. Веял слабый, сладковатый ветерок с запахами сухой травы. Он провел рукой по темным, корявым стеблям, узнавая среди испепеленных солнцем растений пырей и типчак с остатками колосков, черные веточки полыни, серые, с зеленью у корней, кустики верблюжьей колючки.

Он услышал далекий, нарастающий гул. На шоссе, далеко, приближаясь, показался автобус, обшарпанный, дребезжащий, покрытый линиями узорами, с мутными запыленными стеклами. Поравнялся. Сквозь стекла промелькнули бородастые лица мужчин, круглые, накрытые паранджей головы женщин. На крыше автобуса громоздились какие-то корзины, мешки. Должно быть, жители из соседних кишлаков спешили в Герат на утренний базар. Автобус прокатил мимо. Одно колесо его было приспущено и издавало хлопающий звук, который еще долго слышался, когда автобус исчез.

Суздальцев, сидящий у обочины в азиатском облачении, не привлек внимания пассажиров. Не выглядел чужеродным среди степи, являясь ее обитателем.

Через некоторое время из той же дали снова возник звук. Звенел, гудел, урчал, словно по мере приближения включались новые, издающие звук механизмы. Показался грузовик с солнечным лобовым стеклом, украшенным бахромой из кисточек, блестящих висюлек, напоминавших елочные игрушки.

Высокие борта грузовика были покрыты затейливыми узорами из стилизованных цветов и птиц, автомобилей и архитектурных сооружений. Кузов был полон темнолицых крестьян в чалмах. На крыше грузовика, в тесном дощатом загоне, виднелись овечьи головы. “Борбухайка” бодро проурчала и ушла к Герату, где уже начиналась рыночная торговля.

Сидящие в кузове крестьяне равнодушно скользнули взглядами по сидевшему у обочины Суздальцеву, не отличая его от сородичей. Одиноким степеняк вышел к дороге и ждет попутную машину в Герат.

Он не сразу заметил велосипедиста, бесшумно катившего, с развевающейся накидкой. Ноги в шароварах упорно давили педали. Наклоненная вперед голова с рыжеватой бородой, в черной чалме, покачивалась в такт упругим движениям. Поравнявшись с Суздальцевым, он взглянул на него, еще и еще раз, блеснув белками, и переднее колесо несколько раз вильнуло. Велосипедист выправил руль и, отвернувшись, покатил, удаляясь, в черном плаще, с солнечным мерцанием спиц.

Суздальцев испытал тревогу. Слишком бесшумно подкрался велосипедист. Слишком пристально, с радостным блеском белков, взглянул на него, словно узнал. Велосипедиста уже не было, а тревога оставалась.

Со стороны Герата на шоссе раздался легкий стрекот кузнечика. Появился экипаж, похожий на нарядную табакерку. Моторикша — узорная кибитка, словно расшитая шелками тибетейка — на трех колесах катила по голубому асфальту, управляемая возницей. Приблизилась к Суздальцеву и остановилась, дрожа бахромой с забавными шариками, звездочками, колокольчиками. Возницей оказался Ахрам в чалме и хламиде, черноусый, с пунцовыми, расплывшимися в улыбке губами. Из глубины кибитки наклонился Достагир, теперь уже в афганском облачении, но не в том, какое носят простолюдины, а в том, в котором щеголяют зажиточные горожане. Бархатная зеленая шапочка, шитая серебром. Вольно висящий шелковый халат, под которым виднелась рубаха и брюки, остроносые блестящие штиблеты.

— Здравствуйте, товарищ Суздальцев, — белозубо улыбнулся Достагир, приглашая взглядом занять место в кибитке. — Вы настоящий афганец. Вам только не хватает мотыги или кетменя.

— Или десять овец рядом, — засмеялся Ахрам.

Суздальцев встал с обочины, оглянулся по сторонам и нырнул в кибитку, почувствовав, как она просела под его тяжестью. Мотор затрещал, и они, развернувшись, покатали в Герат.

— Как завершилась вчерашняя операция в кишлаке Зиндатджан? Что показали задержанные? — Суздальцев вдавливался вглубь повозки, не желая себя обнаружить, прижимая локтем кобуру с пистолетом.

— На допросе показали, что из Ирана пришла группа из десяти человек. Назвались торговцами, желающими приобрести изделия из гератского стекла. Главного торговца зовут Вали, средних лет, с рыжеватой бородой. По виду военный. Арендовали машину, чтобы везти в Иран купленный товар. Возможно, для перевозки ракет. Все десять двумя группами ушли в Герат и не возвращались. Пока всё.

Суздальцев на мгновение вспомнил велосипедиста, прокатившего мимо по шоссе. Его черное покрывало, яркие белки и рыжеватую бороду. Свою моментальную тревогу, которая вновь повторилась и погасла.

— Насколько надежен ваш источник Фаиз Мухаммад? Можно ли ему доверять?

— Он бывший вертолетчик. Душманы убили близких. Сошел с ума. Но теперь поправился. Его друг живет в Деванче. Рассказал про ракеты. Подробности он готов сообщать только вам.

— Где состоится встреча?

— На рынке, в чайхане “Тадж”. Конечно, это не Тадж, не дворец. Обычная чайхана. Место проверили. Безопасность обеспечена. Конечно, в той степени, в какой это возможно на рынке. Ахрам расставил своих людей.

— Мои люди — твои люди. Будем брать Вали. Будем брать ракеты, — бодро отозвался Ахрам, управляя коляской.

Они катили по пустому шоссе, обсаженному соснами, мелькали красные корявые стволы, серебристая хвоя. Степь утратила мертвенный пепельный цвет, умягчилась, брызнула зеленью. Ветер, залетавший в коляску, стал влажный, бархатный, пахнувший водой и травой. Река сочно сверкнула, заструилась протоками, солнечной рябью на перекатах, листвой на прибрежных кустах.

— Гератский мост, — произнес Достагир, когда они пересекали реку. У моста, с обеих сторон, были вырыты окопы, смуглые лица афганских солдат поворачивались им вслед. — Душманы хотят взорвать, а мы не даем.

Суздальцев заметил ствол пулемета, обращенный к реке. Спрятав корпус в кусты, стоял транспортер. От коричневых солдатских лиц, от металлических касок, от вороненого ствола пулемета брызнула тревога, полыхнула опасность, и Суздальцев остро ощутил враждебность чужой природы. Голубая вода, сочная зелень, стайка взлетевших птичек отталкивали его от себя.

Вдоль дороги, указывая на близкое предместье, потянулась низкая глиняная изгородь, и за ней молодая сочная зелень. Изгородь превратилась в высокую глинобитную стену, окружавшую жилище. Над стеной возвышался шершавый глиняный купол, словно затвердевший пузырь. Из него сочился голубоватый дымок. Сладко пахнуло горячей сосной. Перед домом стоял человек в складчатой накидке, с бородой, в чалме. И вид его был благодушен и не вызывал опасений.

Потянулись мастерские, вывески с названием аграрных хозяйств и строительных складов. Мелькнули красные самоходные комбайны советского производства, голубые тракторы “Беларусь”. Поленицы с аккуратно распиленными стволами горной сосны. Жерди, сложенные в высокие остервершие пирамиды. Предместье укрупнилось домами, кровлями, снующими вдоль дороги людьми. И они въехали в Герат, словно стали частью огромной шумной карусели, взлохмаченно-пестрой, музыкальной, мелькающей.

Улицы, накаленные, в золотистой дымке, в синеватой машинной гари, кипели. Смоляные черные бороды. Сверкающие белки. Развеваящиеся одежды. Толпа была густой, жаркой, как расплавленная смола. Истошно гудели моторикши, усыпанные блестящими, похожие на маленькие расписные шарманки, издававшие звон и стрекот. Выруливали, блестя спицами, сцеплялись в трескучие ворохи, как пестрые насекомые. Закупоривали улицу, рассыпались, продолжая катиться, звенеть. Ослики с бубенцами бежали, трясли на себе величавых наездников, закутанных в вольные ткани. Торго-

вали, спорили, тащили на спинах кули. Толкали перед собой двуколки с гурдами овощей и фруктов. Пронесли коромысла с медными чашами, полными орехов и пряностей. Стояли перед дымящимися жаровнями, обмахивая их опахалами, раздувая угли, вращая гроздья шипящего мяса. Дуканы казались балаганами, в которых совершалось пестрое легкомысленное действо. Что-то вспыхивало, светилось, мерцало. Весь огромный азиатский город напоминал клубящееся непрерывное празднество. Кого-то славил, кому-то возносил думы, кому-то жаловал дары. Но в этой легкомысленной пестроте и радостной неразберихе Суздальцеву чудилась невидимая стальная сердцевина, упругая спираль, готовая распрявиться и жестоко ударить. Где-то здесь, среди лавок и веселых торговцев, притаился иранский спецназ. В тесных кварталах и глинобитных строениях были спрятаны “стингеры”.

Они приблизились к базару, из которого валила толпа, но Ахрам проехал мимо, едва не задев торговца, несущего на голове корзину с апельсинами. Мелькнуло купольное здание бани с сочащимся мыльным арыком. Кружили по городу, словно укрывались от погони, путали чьи-то следы, опасались преследования.

На пути возникли каменные стены и башни, белесые, седые, с зубцами, с чересполосицей света и тени. Крепость казалась осевшей, словно каменные богатыри погрузились по пояс в землю, и над их головами пламенела сияющая лазурь.

— Наша крепость, Эхтиар Рудин — Воля Веры, — произнес Достатир, — очень старая, лет триста. На ее месте стояла другая крепость, построенная Александром Македонским. Он завоевал Герат, построил крепость, но не смог удержаться. В Афганистане никто из чужаков не удерживается.

— Товарищ Суздальцев — не чужой, он друг, — поспешил добавить Ахрам.

Они миновали мечеть Мачете Джуаме. Суздальцев запрокинул голову, ослепленный стеклянным блеском нисходившей с неба стены. Синий воздух сгущался, принимал форму куполов, минаретов, льющихся сверху изразцовых потоков. Казалось, среди пепельно-серых домов и тускло-желтых улиц здесь стегнулась лазурь, из которой небесный стеклодув выдул мечеть своим глубоким дыханием. В ее гулких прохладных недрах таился медленный выдох — молитвы, стихов из Корана.

Они продолжали круженье по городу. Герат по-прежнему был похож на разноцветную скрипучую карусель, но в этом ворохе цвета и гама притаилась невидимая стальная пружина, готовая распрявиться и смертельно ударить. Суздальцев ловил на себе пытливые взоры прохожих, которые, казалось, разоблачили его хитрость с переодеванием. Усмешку торговца, зазывавшего в свой дуكان. Черно-огненный ненавидящий взор тучного афганца из встречной моторикши. Среди обожженной глины, крашеного ветхого дерева, надтреснутых изразцов ему мерещился блеск оружия, среди складок накидки — автоматный ствол.

Его мысль о стеклодуве получила вдруг счастливое подтверждение. Они задержались ненадолго перед маленьким дымным строением. Суздальцев заглянул в полутемный сарай. Там стеклодув в закопченном прожженном фартуке, в замусоленной повязке окунал тростниковую дудку в котел с кипящим стеклом. Озарялся, обжигался, одевался в белое пламя. Выхватывал на конце своей дудки липкую огненную каплю, стекавшую, готовую сорваться звезду. Быстро, в ловких ладонях, крутил. Дул в нее, выпучивая черные, с яркими белками, глаза. Капля росла, розовела, обретала вязкие удлиненные формы. Становилась сосудом, бутылкой, пламенеющей, охваченной жаром вазой. Стеклодув опускал ее, отрывал от тростниковой, охваченной жаром пуповины. Усталый, потный, откидывался на топчан, измученный, словно роженица. А новорожденное стеклянное диво остывало и гасло. В стекле появлялись зелень и синева. Лазурный хрупкий сосуд стоял на грязном столе, и в его стеклянные стенки были вморожены серебряные пузырьки. Дыханье стеклодува, уловленное навсегда, оставалось в сосуде.

А у Суздальцева мелькнула счастливая благоговейная мысль — перед ним в углу облачения афганского стеклодува явился Создатель Вселенной. Родил на его глазах еще одно небесное тело.

Уклоняясь от слежки, они проехали вдоль городского парка. Худой горбоносый садовник опустил к земле кетмень. Суздальцев залюбовался струящимися кронами кипарисов и тополей, желтыми пустыми дорожками, кустами, подстриженными в форме минаретов и стрельчатых арок, журчанием маленького солнечного водопада и перелетавшими изумрудными птичками. Захотелось углубиться в пар, притаиться среди благовонных кустов, рассмотреть подробнее изумрудных птичек. Отложить опасную встречу.

Они миновали центральную часть города, торговые ряды, бензоколонку. Лавировали в круговерти тяжелых грузовиков и запряженных осликами повозок. Остановились на маленькой площади, окруженной лотками. От площади вглубь квартала уходила солнечная пустая улица с глухими лепными стенами. Суздальцев смотрел в это солнечное сухое пространство, и ему вдруг неудержимо захотелось туда. Болезненный магнетизм увлекал его из-под тента повозки. Хотелось пройти по улице, почувствовать плечами тесное гулкое пространство, услышать притаившиеся за стеной голоса, уловить запах дыма и теплого хлеба. Он порывался встать. Но был остановлен Ахрамом.

— Нельзя! Деванча! Враг! Стрелять может!

И в ответ на его слова далеко на улице возник человек в черной чалме, бородастый. Медленно вышел на солнце, окруженный тенью, и рассматривал остановившуюся моторику. Также медленно канул, будто растворился в стене.

Рынок казался огромной цветной черепахой с пестрым чешуйчатым панцирем. Под костяным куполом шло шевеление, скрипы, панцирь напрягся. Чудилось, рынок медленно ползет по городу, скребется о глинобитные дома и мечети. Черная гуща втекала в главные ворота рынка, а из боковых ворот валела несметная толпа, словно рынок ее удваивал. В нем шло размножение, он роился, как пчелиный сгусток. Словно таинственная матка без усталости рожала на свет крепких, с красными лицами и черными бородами мужчин и укутанных в паранджу женщин, которые казались цветами с круглыми головками, колыхали подолами, и сквозь ткань угадывался их возраст, волнуя взгляд плавными бедрами, высокой грудью, мелькнувшей под подолом щиколоткой. Рынок бурлил, шумел головами, взрывался криками, яростной едкой музыкой, высоким стенанием муэдзина.

Суздальцеву казалось, войдя он под своды рынка, и окажется в громадном тазу, в котором варят черно-вишневое варенье, задохнется, утонет, станет барахтаться среди горячих пузырей.

Они оставили свою хрупкую расписную повозку на стоянке тяжелых грузовиков — барбухаек, у которых усталые водители ели руками плов, запивая чаем. Тут же, привязанные к железным кольцам, стояли верблюды, надменно взирали на суету, иногда один или другой издавал рев, обнажая желтые зубы, и от этого свирепого рыка поднимались тучи воробьев и голубей.

— Товарищ Суздальцев, пойдём, Ахрам впереди, я за вами. Не волнуйтесь. Здесь много наших товарищей, — произнес Достагир, пропуская Суздальцева вперед. Невероятная сила и мощь, исходящая от толпы, пугала, рождала дурные предчувствия, он чувствовал свою беспомощность перед этой раскаленной энергией. И она же, эта энергия, и таинственное с нею родство притягивали Суздальцева, влекли в водовороты рынка. Прижимая локтем кобурку пистолета, запахнувшись в накидку, он двинул свои босоногие сандали в толпу.

По нему хлопали тугие ткани накидок, задевал душистый шелк паранджи. Его теснили тюрбаны, из-под которых на секунду возникал крепкий нос, жгучие брови вразлет, огненный взгляд черных глаз. Рынок вопил, смеялся, сердился. Вокруг торговались, хлопали по рукам. Зазывали умоляюще заглядывали в глаза и назойливо тянули за рукав. Мальчишки пускали ввысь каких-то бумажных птичек с пропеллерами, и те, вращаясь, со стрекотом пикировали на толпу, не больно ударяя в головы. Кругом — веселое плутовство, азарт, жадность, наслаждение, величавое философское равнодушие. Именно с этим выражением сидел торговец, положив на одну чашу весов железную гирию, а на другую гору орехов. Господь Бог, взвешивающий благодеяния и грехи.

Суздальцев, пробираясь за Ахрамом в лабиринтах рынка, сворачивая в соседние ряды, постоянно меняя направления, старался запомнить прихотливый маршрут, выбрать опорные знаки, по которым можно было бы отыскать дорогу назад.

Лавка с кальянами, похожими на грациозных птиц, — выпуклые стеклянные грудки, пестрые хохолки, распушенные хвосты. Дукан, торгующий изделиями из меди — сияющие подносы и блюда, самовары и жаровни, разные светильники, узорные сосуды. Среди товаров расхаживал торговец в малиновой безрукавке и шароварах, протирая тряпочкой медный самовар.

На одном из поворотов сияла лавка, торгующая арабесками. Суры Корана сопровождалась разноцветными экспрессивными рисунками. Пророк, обнажив меч, на белом коне въезжает в лазурное море. Золотые купола мечетей и черный камень Кааба, окруженный арабской вязью. С раздвоенным лезвием меч, похожий на струящийся факел, и вокруг такие же пламенные, с завитками огня, арабские надписи. И среди нарядных, на серебре и на золоте, картин — роза, алая, пышная, источающая жар и сияние, помещенная в центр Вселенной. Роза Мира. Венец творенья. Любимый цветок Стеклодува.

Они погружались в рынок, как погружаются в бездну, откуда нет выхода. Среди голошений, воплей веселья и гнева Суздальцеву чудились зоркие молчаливые люди, наблюдавшие за ним из толпы, случайно задевавшие его локтем или накидкой, нырявшие в соседний проход. Его “передавали”, “вели”. Это могли быть разведчики афганского “ХАДа”. Могли быть лазутчики моджахедов. Могли быть агенты пакистанской или иранской разведки. Или англичане из Ми-6. Или ЦРУ. Среди запахов тмина и перца, восточных благовоний и сладких дымов реяли злые ветерки, исходившие от незримых преследователей. И он шел за Ахрамом, прижимая локтем пистолет.

Они миновали ряды, где менялы мусолили пачки афганей, динар и долларов. Перетягивали резинками кипы рублей и марок. Прошли сквозь ряды ювелиров, выставлявших под стеклом золото и серебро, перстни и кольца с лазуритом. Горы помидор пламенели, словно в каждом светила лампочка. Груши и яблоки отекали соком. В меховых лавках груды лежали дубленки, висели медвежьи шкуры и пятнистые меха горных барсов. Антиквары предлагали старые пуштунские украшения, в которых переливались яшмы, лазуриты, агаты.

Они вошли в мясные ряды, где на мокрых крюках висели ребристые говяжьи туши, покачивались ободранные бараны, связки обципанных кур. Пахло сырой плотью. Покупатели трогали мясо, принюхивались, смотрели сквозь ребра на свет. Торговцы снимали с крюка тушу, плюхали на плаху и с хрустом разрубали топором.

Здесь же, в окружении мясных рядов, Суздальцев увидел корчму с закопченными окнами и красной грязноватой вывеской, на которой красовалось аляповатое изображение дворца и название “Тадж”. Ахрам, не оглядываясь, прошел мимо, а Суздальцев, услышав за спиной слова Достайгира: “Входите”, — тоже не оглядываясь, растворил звякнувшую дверь харчевни.

Ему в лицо пахло кисловатым воздухом, в котором витали специи, дым и дыханье людей, поедающих пищу. Прямо у дверей сидел кассир, получая деньги, заполняя от руки розоватые чеки. Напротив, в стене было окно, в которое с кухни подавали подносы с едой, и забеганный служка с непричесанной головой и калошах на босу ногу подносил блюда. Несколько посетителей предавались трапезе. Усталый, тучный крестьянин, лицом к окну, нехотя доедал пиалу с рисом, роняя белые зернышки на бороду, грудь, облизывая жирные пальцы. От него не исходила опасность, его спина оставалась открытой, и он не ожидал нападения. Двое других у стены, похожие на братьев, весело переговаривались, посмеивались. Оборачивали в лепешку длинный кебаб, макали в соус и, запрокидывая голову, засовывали в рот. Шевелили усиками, двигали кадыками. Эти двое были защищены со спины, могли стрелять сообща. Слишком нарочито смеялись, жевали, не прятались и этим рождали тревогу. Еще один сидел в самом углу и, казалось, дремал, оставив недопитый чай. Его тяжелые веки были опущены. Чалма съехала. Грубые, черные от работы руки лежали на столе. Его позиция была безуко-

ризненной, но вид он имел бедного крестьянина из окрестного кишлака, приехавшего на рынок подработать носильщиком или сборщиком мусора.

Суздальцев моментально оглядел корчму, проведя от посетителя к посетителю траекторию стрельбы, помещая всех, включая кассира и служку, в геометрию боя. Выбрал для себя в многоугольнике наименее уязвимую точку — спиной к стене, лицом к стеклянным дверям, по соседству с запасной дверью, ведущей, видимо, на кухню, откуда раздавались раздраженные женские голоса.

Сел, приоткрыв накидку, чтобы легче было достать пистолет. Осматривался по сторонам. На стенах висели картонные портреты каких-то напыщенных воинов на фоне скачущей конницы. Портреты были в жирном нагаре от мясных супов и жареного мяса и сильно засижены мухами. Сквозь стеклянные двери и окна виднелся перламутровый рынок, долетали возгласы менял и торговцев.

Суздальцев заказал себе лепешку с люля, зеленый чай с кристаллическим сахаром и, не приступая к еде, стал ждать. Посетители входили и уходили. Встал и расплатился у входа тучный крестьянин, выхватывая узкими пальцами крупички риса из бороды. На его место пришли и сели худой старик и мальчик, беззубый рот старка улыбался в седых усах, а мальчик, прикрывая рот ладонью, хихикал. Оставались сидеть двое, похожие на братьев, их еда была съедена, чай выпит, но они продолжали сидеть.

Дверь зазвенела, и вошел Достагир, что-то любезно спросил у кассира, заглянул в карту меню и, прихватив ее, отправился в дальний угол, чтобы видеть дремлющего пред чашкой чая посетителя. Он не смотрел в сторону Суздальцева, но тот чувствовал исходящие от него нервные токи.

Снаружи зазвучала визгливая музыка, кто-то в соседней лавке включил кассетник. Заслоняя окна, проехала повозка с перекладной, на которой висели ковры, и ковровщик, упираясь ногами, толкал повозку. И эти два события, — музыка и ковры — предшествовали звону дверей, в которых появился тощий человек в долгополой куртке и шароварах, в серой шапочке и серебристой щетине. Он тревожно, рывками, оглядел харчевню, увидел Суздальцева, шагнул к нему.

— Здравствуйте, я Хафиз Мухаммад.

— Я Суздальцев, здравствуйте.

Они обнялись, и, касаясь щекой щеки Мухаммада, Суздальцев укололся о жесткую щетину.

Уселись напротив друг друга. Суздальцев заметил, что в худых смуглых пальцах Мухаммада дрожат четки, и тот, чтобы скрыть постоянную дрожь, перебирает смуглые ядрышки.

— Не обращайтесь внимания, — Мухаммад кивнул на дрожащие руки. — Я лечился в сумасшедшем доме, и руки еще продолжают дрожать.

— Я знаю вашу историю. Почему вы решились обратиться ко мне?

— Очень много предателей.

— И в “ХАДе” предатели?

— Я располагаю информацией. Сообщил об этом офицеру “ХАДа”. После этого меня хотели похитить.

— Вы не испугались прийти ко мне?

— Мне нужно передать информацию, после этого они могут меня убить или похитить. Мне ничего не страшно. Они убили всех моих близких, и я ничем не могу отомстить. Я больше не в силах летать, — он вытянул дрожащие пальцы, на которых трепетали четки. — Вы поможете отомстить.

— Вы знаете, что меня интересует?

— Вас интересуют зенитные ракеты американского производства. Я знаю, они уже начинают действовать в восточном Афганистане, и много моих товарищей-вертолетчиков погибло от их попаданий. Теперь ракеты попали в Герат. Здесь скоро тоже начнут падать наши и ваши машины.

— Вы знаете, где эти ракеты?

— Мой дальний родственник Хамид живет в Деванче. Он дружит с соседом, который живет возле мечети. Соседа зовут Азис Ниалло. Утром, перед рассветом Хамид услышал на улице шум. К дому Азиса подкатил грузо-

вик, и люди сгружали ракеты. Хамид насчитал двадцать или двадцать пять ракет, которые были не в ящиках, а завернуты в холст. Когда машина уехала, Хамид спросил друга: “Что это?”. — “Ракеты, которыми скоро начнут сбивать вертолеты. И они больше не будут бомбить наши кишлаки”. Хамид сказал, что пойдет и расскажет в “ХАД”. Сначала он пришел ко мне и просил совета. Я посоветовал ему идти в “ХАД”. Когда он вышел из моего дома, его убили на улице. Те, кто его убил, знают, что он навестил меня, и я знаю местонахождение ракет. Поэтому они следят за мной и хотят меня убить. Поэтому я торопился встретиться с вами.

— Где находится дом Азиса Ниалло? — задавая вопрос, Суздальцев заметил, как шевельнулся и с тяжким вздохом открыл усталые веки тучный афганец в углу. Поднял черную крестьянскую руку и поправил чалму, которая съехала ему на глаза. — Где укрыты ракеты?

— Если входите с площади в Деванчу, то третий дом за мечетью. Сплошная стена, но в ней ярко-синие деревянные ворота. Он их недавно покрасил. Рядом подобных нет. Это дом Ниалло.

— Где он их может прятать?

— Не знаю. Может быть, в доме под полом. Может быть, в коровнике под сеном. Я не бывал у него в доме.

Черная крестьянская рука, поправив чалму, вяло опускалась к столу, но у тучной груди замедлила движение, прынула под накидку, выхватила пистолет. Афганец с медвежьей грациозностью отшвырнул стол, вскочил и кинулся к Мухаммаду. Тот тонко вскрикнул, вильнул из-за стола и помчался к дверям. Отрезая ему путь, бросились “братья”, расплескивая длинные брызги соуса. Выставили пистолеты и стреляли дружно, наполняя харчевню вспышками. И пока пули пробивали щуплое тело Мухаммада, он упал и полз, вздрагивая от попаданий, прижимаясь щетиной к грязному полу, и четки выскользнули из его раскрывшихся пальцев. Достагир, не вставая, прижавшись к стене, бил через стол в спины “братьев” с двух рук. Переводил пистолеты в сторону толстяка, и у того на груди лохматились красные дыры.

Суздальцев среди свистящих пуль, геометрических пунктиров, подныривая и уклоняясь от выстрелов, шарахнулся к запасным дверям, которые заранее выбрал для отступления. Он не осмысливал поля боя, действовал по наитию, повинаясь инстинкту жизни и той предварительной схеме, которую вычертил, ожидая неминуемую схватку. Но помимо желания уцелеть и выжить, в нем поместилась под сердцем добытая истина, нагроулила его, как нагроуждает женщину плод. И он уносил из-под пуль не одну свою жизнь, но драгоценную информацию — мечеть в Деванче, ярко-синие ворота в серой глинобитной стене.

Пробежал сквозь кухню с пылающим очагом и медными лоханями, в которых шипело мясо и бурлила коричневая гуща. Женщины-поварихи всплеснули руками и отскочили от страпни. Он рванулся в неровный квадрат задних дверей, выскочил на рынок и увидел, как от стены дукана, распахивая локтями гору помидоров, встает человек и целит ему в лицо. И от другого дукана, разваливая пирамиду яблок, выпрыгнул по-козлиному Ахрам, метнулся, заслоня собой Суздальцева, и тот, пробегая мимо, услышал, как хлопнули в тело Ахрама пули. Бросился в мясные ряды, к розовой на солнце ребристой туше, и вслед ему, у виска, ударил выстрел, пуля пробила тушу, пропуская пучок лучей. Он услышал хруст разрываемой плоти, стук перебитой кости. В лицо пахло горелым мясом и перемолотым костным веществом. Присел, разглядев у своих сандалий втоптанную в грязь бирюзовую бусину. Взыл металлический, из виньеток и завитков, голос муэдзина. Запечатлелось навек — вдавленная в грязь бусинка, брызги солнца из пробитой туши и надсадный, парящий над рынком голос муэдзина.

Он бежал по рынку, видя, как от стен, из дверей дуканов, из-за повозок, из толпы выступали люди и начинали стрелять. По нему, по другим, стрелявшим в ответ, прошивая толпу, заваливая подвернувшихся под шальные пули. Вилял, подныривал под навесы, расшвыривал горы перца, контрабандный стиральный порошок, разливал флаконы с жидким мылом.

Бежал наугад, не узнавая рынка, путаясь в его лабиринтах. Налетал на крутящиеся вентиляторы, похожие на одноногих балерин. Утыкался в стальные часы, чьи маятники маршировали всё в одну сторону, как солдаты. Он понимал, что заблудился. Тайна, которую он нес под сердцем, не может пробиться к выходу. Синие ворота в стене, изразцовая глава мечети так и исчезнут в черном непроходимом вареве, которое затягивало его, как топь.

Вдруг сбоку просияла лавка с арабесками, — золотые и серебряные картины с мечетями и несущимися скакунами, румяные крылатые девы, окруженные святыми сурами. И среди минаретов и раздвоенных клинков он увидел розу. Сочная, дивная, растворившая лепестки, торжествующая, как центр Вселенной. Роза Мира. Любимый цветок Стеклодува.

Она позвала его, и он кинулся на ее спасительный свет. Уже узнавал дулканы с медными самоварами, лавку с кальянами, далекий, в муравьином копошении выход. Прижимая руки к груди, защищая не сердце, а таящуюся под сердцем тайну, бросился к выходу.

Моторикша стояла на прежнем месте, за рулем сидел Достагир. Ревели верблюды. Разворачивался тяжелый грузовик с затейливо расписанным кузовом.

- Ахрам убит, — сказал Достагир. — Вы добыли информацию?
- Добыл.
- Что теперь?
- На шоссе нас ждет бронегруппа. Вместе с ней в Деванчу.

Бронегруппа из трех машин стояла под соснами на окраине города. Солдаты сидели на броне, рассматривая катившие мимо “барбухайки”, лениво курили. Майор Конь вместе с Пятаковым присели у края асфальта, Конь куточком кирпичика рисовал на асфальте схему какого-то боя, и Пятаков внимательно рассматривал бруски “бэтээров”, сектора обстрела, направления ударов. Выскакивая из коляски, Суздальцев разглядел среди солдат головной машины парня по прозвищу Маркиз, милого, с пушистыми бровями солдата, которого вчера запомнил, сидя у костра.

— Ракеты в Деванче. Третий дом от мечети. Синие ворота в стене. Хозяин — Азис Ниалло. Надо брать! — торопил, задыхаясь, Суздальцев.

Пятаков пружинно распрямился, рыкнул по-командирски:

— По машинам! За мной!

Вскочил на броню, сажая рядом Достагира. Конь и Суздальцев поместились у башни. Маркиз распластался своим молодым гибким телом среди уступов и скоб. Бронегруппа рванула, окуталась синим дымом и с лязгом пошла по шоссе.

В раздавленных ветром глазах, сквозь наплывы слез перед Суздальцевым летели синие, вмурованные в стену ворота. Удалялись, а машина их наступала, а они вновь удалялись, маня синевою. Чалму сорвало ветром, и она осталась лежать на дороге. Ветер поднимал полы накидки, и они шумели, как крылья. Рядом, ухватившись за пушку, выставив лоб, набылчился Конь. Напоминал кентавра могучим торсом слитностью с машиной, его тулово с могучими мышцами произрастало из брони.

Суздальцев узнавал окрестности, мимо которых бронегруппа врывалась в город. Низкая корявая изгородь, за которой сочно, по-пасхальному, кустились зеленя. Заскорузлый глиняный купол, из которого сочился дымок. Машинный двор с красными комбайнами и синими тракторами. Гусеницы резали асфальт, высекали звук пилы, и жители в страхе отскакивали от режущего жестокого звука, сбегали с шоссе.

Город вскипел, наполнил улицы варом, нервной звенящей суетокой. Машины, не сбавляя скорость, включив сигналы и бледные водянистые фары, пробивали толпу. Воздушной волной отбросило перебежавшего пешехода. Задела гусеницей повозку с помидорами, брызнув красным взрывом. Едва не столкнувшись с грузовиком, отразившись в ужаснувшихся женских глазах.

— Вперед! — гнал машину Пятаков

Гремящей струей обогнули рavelин Эхтиар Рудин с драконьей зубчатой стеной. Попали под синий солнечный дождь — в блеск Мачете Джуаме, ее

стеклянных изразцов и хрустальных голубых минаретов. Парк, тополя, кипарисы. Клумба с кустами роз. Еще недавнопыльные, алые, источавшие дивное свечение, они были черны, глухи. Казалось, в цветах скопилась каменная тьма.

Колонна остановилась на площади, где по кругу бежали ослики, вихляли повозки, переваливались грузовики. Перед ними была Деванча — длинная, как глиняный желоб, улица, лепная, без дверей и окон, с черной рябью бойниц вдоль верхней кромки стены.

— Вам, товарищ подполковник, показывать. Пробьемся к дому, взорвем ворота, устроим шмон. Ракеты под броню — и домой. Приказывайте, товарищ подполковник.

— Спешь солдат, Пятаков, пусть идут за броней, — распоряжался Конь.

— Достагир, будь рядом. Чтоб не ошибиться. Спрашивай, тут ли живет Азис Ниалло, — Суздальцев вглядывался в солнечную сухую улицу, тревожащую своей пустотой, неровным пунктиром бойниц. Солдаты спрыгнули с брони, притаились за сталью машин, держа автоматы стволами вверх.

— Вперед, — приказал Суздальцев, крепче ухватившись за скобы.

Машины, развернув пушки “елочкой”, беря под прицел бойницы, качнулись, двинулись, медленно втягиваясь в улицу. Суздальцев окунулся в люк, выглядывая из-за кромки, стараясь углядеть мечеть. Но улица плавно загибалась, и пространство за поворотом было скрыто от глаз.

Первые два выстрела прозвучали одновременно, окутав бойницы сизыми дымками. Одна очередь хлестнула пыль, взрыхлив на дороге бурунчики. Другая косо прошла, зацепив броню, породив ноющей удар, какой бывает в пустой цистерне, когда в нее попадает камень.

Пятаков, прижимая к горлу шлемофон, командовал. Пушка головной машины грохнула, ударила в Суздальцева звоном стали, рыгнула пламя, и в стене, рядом с бойницами, появилось облако. Пробоины не было. Из вырубленной лунки текла вялая солнечная пыль.

Следующими застучали бойницы с другой стороны, стволов не было видно, но сквозь щели брызгали длинные вешпышки. Крошили противоположные стены, и несколько пуль рубануло машину у головы Суздальцева, так что заломило зубы. Он провалился в люк, медленно выглядывал. Пушки трех “бээмпэ” сработали одновременно, и в трех бойницах взорвался огонь, повалил дым, и больше оттуда не стреляли.

Машины медленно продвигались по улице, солдаты, приседая, прятались за броню. Суздальцев увидел, как из-за поворота возникли невысокие минареты, похожие на лесные грибки, и стал выдвигаться фасад мечети, без изразцов, глинобитный, со стреловидной аркой, над которой зеленел флаг.

Гранатомет ударил сверху слева, темная трасса с красным комочком промахнулась, ткнулась в стену, срикошетила, рассекла пыль дороги и взорвалась у стены, полыхнув ярким при свете солнца взрывом. В воздухе, пересекая улицу углами, повис реактивный след, а из-под стены, где полыхнул взрыв, лениво сочилась гарь.

Вторая граната ударила близко, и Суздальцев ее не увидел. Только испытал раскручивающий страшный удар в носовую часть, от которого сквозь сталь прошла судорога, и машина, взревев от боли, стала поворачиваться, словно пыталась убежать. Уткнулась острым углом в стену, продолжая крутить пустыми, без гусениц, катками. Корма уткнулась в стену противоположного дома, и машина закрыла проход, продолжая содрогаться.

— Водитель, из люка! Достагир, с брони! Они ее начнут добивать!

Все трое, окруженные бисером трасс, скатились на землю. Подбитая машина цапала кормой стену, лишённые гусеницы катки бессмысленно крутились, а гусеничная лента плоско лежала в пыли. Суздальцев увидел близкую мечеть и через несколько домов — удаленные синие ворота, плоско вмурованные в дувал. Их желанную синеву. Их близкую доступность. Их мучительное притяжение.

Майор Конь с солдатами продралась между кормой и стеной.

— Вперед! Вперед! — рыком Конь подгонял солдат, с одной руки посылая впер очередей в бойницы, подавляя стрельбу. Солдаты разделились. Прижима-

лись к стенам, мелко перебирая ногами, стреляя по верху стен, проводя на сухой глине дымные дорожки. Суздальцев, чуть отстав, видел, как Маркиз, расстреляв рожок, хотел вставить новый, но уронил, и рожок блестел на дороге. Маркиз рывками извлекал из “лифчика” новый рожок, вгоняя его в автомат.

— По дыркам бей, закупоривай! — Конь, без кепки, с лысым черепом, набрякшими венами, упорно рвался вперед, туда, где были ворота, — их маслянистая синева, вмурованная поперечная балка и двойные закрытые створки. Мечеть была близка. Безветренно свисал зеленый флаг. Ворота, желанные, доступные, приближались. Сзади Пятаков руководил эвакуацией подбитой машины. Ее остановили, прицепили за корму трос с чекой, потянули. В прогал просачивались другие солдаты, спеша поддержать головную группу.

— Вперед! Вперед!

Улица, полная солнца, затуманилась, словно ее закрыли мутным стеклом. Так густо летели пули и мерцали выбитые из стен песчинки. Солдаты присели, перестали стрелять. Вжимались в стену, норовили повернуть обратно.

— Куда, чмо! Сука! — крикнул Конь, пиная ногой Маркиза, который, повернувшись на пятке, вжав голову, начинал отступать. — Вперед!

Пуля ударила Маркиза в горло, разрывая артерию, и казалось, на его шею повязали пионерский галстук. Он падал, а Конь продолжал кричать:

— Вперед!

Маркиз упал на руки товарищей. Они дружно стали его оттаскивать, боялись от него отцепиться, ибо убитый позволял им покинуть адское место.

Конь отступал вместе с ними, огрызался огнем, а вместе с ним отступали, удалялись, скрывались за поворотом синие ворота в стене. Мечеть еще была видна, и на ней зеленел тусклый флаг.

Они покинули Деванчу, тянули по городу подбитую машину, чувствуя угрюмые взгляды толпы. Маркиз лежал на днище “бэмпэ”, и Суздальцев смотрел на его тонкую переносицу, серые брови и нежные голубые глаза.

Они вернулись в расположение полка. Боевую машину с разбитым катком и висящей на борту гусеницей отбуксировали в парк. Маркиза унесли на носилках в морг. Суздальцев в комнате сдирал с себя измызанное тряпье, остался в одних шароварах, снял с плеча кобуру, швырнул ее на кровать. Майор Конь, голый по поясу, шумно пил воду из горлышка чайника. Вода текла по губам, по косматой груди, на которой выступила бусина крови от крохотного впившегося осколка. Суздальцев с отвращением смотрел на хлопающие губы майора, на голый череп, на синие воловьих глаза. Поражение, которое они потерпели, было сокрушительным и необратимым. Ракеты, если они находились в доме, уже заворачивались в белые холсты, и проворные люди в чувяках тащили их в безопасное место, как муравьи перетаскивают свои яички из потревоженного гнезда.

— Разведчики называются! Чмо! — Конь отшвырнул чайник и перед зеркалом выдавливал из-под кожи стальную занозу. — Пятаков вместо солдат детский сад нам подсунул. Сам за броню сховался. Мне, что ли, его сосунков в атаку водить?

— Зачем ты пинал солдата? — спросил Суздальцев, он ненавидел сейчас майора.

— Ты о чем, подполковник? Ты думай о том, что ракеты просрали. И откуда их будем теперь выковыривать? На мне эти ракеты висят? Они на тебе висят, подполковник! С тебя будут погоны снимать. А добудешь, тебе будут на погонах дырки сверлить. А мое дело тебя поздравлять с очередным званием и орденом.

— Ты не должен был посылать людей на верную смерть. Без брони атака была бессмысленна. Тебе нужны были не ракеты, а смерть. Ты хотел, чтобы убили солдат. Ты не можешь без крови. Ты садист. Ты любишь пытать. Ты любишь доставлять человеку мучение, а потом его убивать. Сбрасывать с вертолета. Жечь электрическим током. Ты садист и сволочь, майор!

— Ах ты, вошь! Интеллектуал! Аналитик! Называется, собрал информацию! Синие ворота! Азис Ниалло! Ты должен был узнать обстановку и не ве-

сти нас в укрепрайон. Ты завел нас в засаду. Ты нас подставил под пули. На тебе кровь того солдата! Я тебя под трибунал подведу!

Голый череп майора блестел, синие воловьи глаза ненавидели. Две их ненависти питали одна другую, разрастались, вставали дыбом черным клоко-чущим облаком, затмевая глаза. Суздальцев видел сквозь туман близкие хло-пающие губы майора, его вислые мокрые усы, струйку крови на курчавой шерсти. И в нем раскрывались черные заслонки, разверзалась дымная вул-каническая дыра, и в этой дыре бушевало, орало, билось жуткими крыль-ями косматое чудище, и этим чудищем был он сам. Он слепо потянулся к пи-стоletу, желая уничтожить ненавистные, с мокрой синевой глаза. Видел, как жилистая рука майора двинулась к “калашникову”, брошенному на кровать. Секунду они стояли, не дотянувшись до оружия. Створки в голове Суздаль-цева сомкнулись, скрыли бездну с клокочущим чудищем, только светились раскаленные створки.

Окна комнаты зазвенели. Задрожали стены. Это по дороге в Герат шла колонна танков, чтобы принять участие в войсковой операции.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Суздальцев знал, ракеты все еще находились в Герате, оставались в Де-ванче, в доме с синими воротами. За ними охотился он, советский развед-чик, и иранский спецназ. На рынке на них напал спецназ, хотел не убить, а похитить, чтобы извлечь информацию, которую он сам извлек из афган-цев. Предстоящая войсковая операция подвергнет Герат удару, взломает опорные пункты, перевернет вверх дном огневые точки, разгонит отряды мо-джахедов. На волне бомбоштурмового удара он проникнет в Деванчу и вновь постарается захватить ракеты.

Так думал Суздальцев, выдвигаясь с разведбатом из расположения пол-ка. Конь расположился в соседней машине, и после вчерашней ссоры они не сказали друг другу ни слова.

— “Лопата”, “Лопата”! Я — “Сварка”! — Пятаков связывался с коман-диром полка, встраивая батальон в маршевую колонну. — Держать дистан-цию, на обочину не сходить, — командовал ротным.

К Герату шли в темноте, ориентируясь по красным габаритным огням головной машины. На рассвете достигли низины, над которой волновались предгорья, черные на латунной заре. Низина шевелилась, наполнялась метал-лом и дымом. Длинным рядом, воздев стволы в сторону Герата, стояли само-ходные гаубицы. Поодаль, задрав белесые трубы, расположились установки залпового огня “Ураган”. Батарея “Град” занимала место на площади, пред-назначенной для артиллерии. Повсюду двигались кунги, сталь отражала зарю. Фургонь с антеннами выставили свои сетчатые параболы, полусферы, отго-ченные штгьри, связывая безвестную низину со штабом 40-й армии в Кабуле, с командованием округа в Ташкенте, с Москвой, где в Генеральном штабе следили за развертыванием войск. В пыльных лучах сновали солдаты, стара-ясь не попасть под гусеницы. Ставили палатки, натягивали маскировочные сетки, тянули телефонные провода. Казалось, в эту утреннюю степь с неба опустился инопланетный десант, заповонив долину отточенной зубчатой ста-лью. Взошло солнце, осветило блеском стройную гармонию оружия, готовую свергнуть мир в хаос.

Второй раз за эти два дня Суздальцев входил в Герат. Вот придорожные сосны, корни еще в тени, а кроны в солнечном лучистом стекле. Вот изум-рудное, свежее после прохладной ночи поле. Вот склады и лавки с вывеска-ми. Но улицы, где вчера текла расплавленная горячая лава, где звенели и брэнчали гудки, орали верблюды, теперь были мертвы. Дуканы были наглу-хо закрыты ставнями. Ни музыки, ни криков слышал. Ни души. Город ук-рылся, спрятался, забился в свои глиняные норы, притаился, слушая из глу-бины рык моторов и звяк гусениц. И где-то в глубинах городских подзем-елий, оберегаемые от него, Суздальцева, находились ракеты.

— “Лопата”, “Лопата”! Я — “Сварка”! Людей под броню! Соблюдать интервалы.

Суздальцев соскользнул в люк, и запах города, дыма, ржанных лепешек, орошенных водою садов, пропал. Только пахло кисло железом, и в щели сочилась солярка.

— “Лопата”! “Лопата”! Я — “Сварка”! “Второму” и “Третьему” выдвигаться в район оцепления! Ориентир для “Второго” — голубая мечеть! Тактика продвижения — “елочкой”!

Роты продвигались к центру Герата, втискивались в теснины, отвечали пулеметами на стрельбу, которая негусто рассыпалась по окрестным кварталам, указывая на продвижение рот. Казалось, город перебрасывает эти трески из ладони в ладонь, осыпая колонны трескучей трухой.

— Прекратить движение! Пропустить трал!

Танк, хрустя гусеницами, выставив перед пушкой огромные грабли с катками, прошел вперед, медленно опуская трал, давя катками на пыль. Толкал их перед собой, как диковинную борону. Следом пошли боевые машины пехоты, разведя по сторонам пулеметы и пушки, вливаясь в улицу, наполняя ее сталью, дымом, блеском. Так заливают глиняную форму расплавленным металлом, и он превращается в слиток.

Ударило резко и тупо, словно лопнул огромный пузырь. Звук пролетел по колонне, шибанул боевую машину, и Суздальцев испытал мгновенную слепоту. Одолевая ее, он видел, как над танком поднимается сонная копоть.

— “Второй”! Доложить обстановку на путях продвижения”. — “Вас понял, подрыв катка”. — “Отставить смену катка. Вперед!”

Танк качнулся, пошел, развеивая над башней вялый шлейф дыма, — дух взорвавшейся мины. Остановившаяся было колонна пошла, застрекотала гусеницами, втискиваясь в улицу. Снова взрыв и удар. Еще одна мина, вживленная в пыль, рванула под тяжелым катком, сдирая его с оси. Над колонной вдоль улицы метнулась огненная комета, ударила в землю, стала подпрыгивать и рванула бенгальской вспышкой, никого не задев. И со всех сторон, трескуче, густо, из бойниц, слуховых окон, из незаметных отверстий заработали автоматы, и колонна в ответ рявкала, обгладывала вершины стен, дырявила дома, дробя пулеметами утлые строения.

— “Второй”, обрабатывать огневые точки! Вперед, только вперед!

Колонна разделилась, две роты ушли в город, пробивая проходы пушками. Три боевых машины, в которых находился Суздальцев, въехали в ворота каменного рavelина.

Спрыгнув с брони, заметив где-то сзади Пятакова и Кюня, Суздальцев оказался среди высоких каменных стен, наполненных тенью и холодом. И только высокая круглая башня солнечно и сухо желтела. Через стены перелетали треск и уханье, доносились нестройные гулы. У входа, пушкой к воротам, стоял танк. Штабной транспортер оцетинился штырями антенн, из люка доносились бульканья рации и сильные позывные. Метнулся к башне телефонист с мотком провода и исчез в проеме. Разворачивался полевой лазарет, брезентовые палатки, в которые саниструкторы вносили операционный стол. Суздальцев озирает тенистый прохладный объем крепости, ограниченный камнем стен, над которыми сиял синий многоугольник неба. В лазури с мелким стрекотом шел вертолет, скрываясь за башней. Город угрюмо гудел, ахал, словно его перетряхивали, били палкой, как перину.

Из боевой машины доносилось:

— “Сварка”! “Сварка”! Я — “Лопата”! Докладываю, заняли рубеж! Заняли рубеж! Потери — один убитый! Повторяю — один убитый!

Суздальцев пережил мгновенную остановку жизни. Остекленевший в лазури взгляд, — желтая башня, вертолет, поблескивая винтами, делает боевой разворот. Он прожил в этом остановившемся времени несколько чернобелых секунд, отпуская вертолет за выступ башни.

На вершине башни был развернут дивизионный командный пункт. Туда поднимались штабисты. Оттуда сбегали офицеры, запрыгивая в штабной

транспортер. Суздальцев, пропустив вперед группу офицеров дивизии, шагнул вслед за ними на башню.

Он прошел галерею с полукруглыми сводами. Поднялся на несколько ступенек. Свернул в другую галерею, вытесанную в каменной толще. И испытал внезапную тревогу. За поворотом кто-то присутствовал. Не часовой, не наблюдатель, а кто-то безмолвный, мощный, огромный, давивший сквозь каменную кладку, поджидавший Суздальцева. Он вдруг испытал страх, — беспричинный, реликтовый, идущий из глубины костей, из тончайших капилляров, уходящих своими корешками в предшествующие жизни, где этот страх был уже явлен его предтечам. Одолея тупую тяжесть в ногах, шагнул в галерею. И навстречу польхнул свет. Он был огромен, бил из неба сквозь полукруглую арку, но не был светом солнца. Казалось, в арку из неба вкатываются один за другим огненные шары, ударяют ему в грудь, в лицо, в глаза.

В этих светоносных шарах звучал приказ: “Стой!” и одновременно приказ: “Иди!” Останавливающий приказ требовал от него всего доступного ему разума, а побуждавший идти — всей воли и храбрости. Казалось, из неба в крепостной проем была вставлена стеклянная труба, по которой несло могучее дыхание, выталкивало один за другим шары света, и эти пульсирующие, догонявшие друг друга светила беззвучным гулом внушали: “Смотри!” Он не мог смотреть, ибо был слеп. В его глазницах вращались раскаленные сферы, выдавливая разноцветные слезы. Но он смотрел и видел сквозь слепоту чьи-то огромные шевелящиеся губы, из которых вырывалось дыхание. И это были губы Стеклодува.

“Гератский свет, — думал он отрешенно, — гератский свет”.

Ему вменялось смотреть и свидетельствовать. Смотреть, как разрушается город. Свидетельствовать, как исчезает с земли еще один город. Один из бесчисленных, разоренных во все века на земле, от Трои до Сталинграда. Он был приставлен к Герату смотреть, как его истребляют, чтобы потом свидетельствовать о его истреблении. К каждому из разрушенных во все века городов был приставлен Свидетель, который свидетельствовал о разорении города. О том, как трубили иерихонские трубы и падали стены. Как разграбленный крестоносцами пылал Царь-Град. Как горели и рушились соборы Рязани. Как эскадрильи “летающих крепостей” стирали с земли Дрезден. И теперь еще один город предавался заклятию, и он, Суздальцев, был приставлен наблюдать падение города.

“Свет Герата! — проносилось в нем, — свет Герата”.

Свет внезапно погас, будто выключили прожектор. В глазах была слепота, расплывались лиловые пятна. В сердце был запечатан завет Стеклодува: “Иди и смотри!”

Суздальцев, пережив потрясение, длящееся секунду, двинулся выше по лестнице. Мимо него пробежали вниз два офицера, один задел его локтем.

Круглая, с каменным полом площадка, ограниченная зубчатой стеной, была как чаша, вознесенная в синеву. Эта чаша кипела, бурлила, брызгала. Шло управление боем. Рокотали телефоны и рации. Офицеры, срывая голоса, перекрикивая друг друга, связывались с колоннами, с артиллерией, авиацией. Звучали позывные и коды. Среди офицеров, их красных лиц, дрожащих подбородков и потных лбов, выделялся командир дивизии, невысокий, точеный, похожий на шахматную фигурку. Его полевая форма была тщательно проглажена. На шее белоснежно сверкал воротничок. Большие зеленые звезды аккуратно прилепали к погонам. Его красивое лицо выражало спокойствие и отчуждение, словно он отделял себя от какофонии боя, занятой какой-то скрытой, ему одному понятной работой.

Суздальцев приблизил глаза к вырезу между зубцами и выглянул.

Герат, обесцвеченный, пепельный, струился жаром. В дрожащем сиянии едва голубели мечети. Коричневые червеобразные минареты, похожие на заводские трубы, проступали сквозь горчичную пыль. Город напоминал пустыню в трещинах. Тусклая зелень предместий пропадала в красной марсианской дали, где, лишённые объема, как тени, стояли горы.

Суздальцев смотрел на Герат, таинственный, величавый, пугающий, приговоренный...

Среди офицеров, срывавших голоса от крика, стоял полковник с белыми бровями и оживленным, почти веселым лицом. Ему не было места среди командиров, ведущих бой. Скорее всего, он был замполит дивизии. Его тяготила бездеятельность, и он, выбрав Суздальцева, комментировал картину сражения, какой она ему открывалась.

— Сейчас передняя цепь будет ставить указание целей. Красный дым. Так, хорошо, понятно. Наши стоят в блокировке у кладбища, перед зеленым массивом. Тяжело мотострелкам, не город, а дот. Танки бы, танки сюда!

Суздальцев смотрел на мглистый город с множеством глиняных куполов, похожих на печные горшки. Слушал гулы и хлопанье. Казалось, в городе работает громадная бетономешалка, взбивает пузыри, и они тут же застывают на солнце.

— Пошла, пошла авиация! — комментировал замполит.

Суздальцев запрокинул голову. Тонкий, как стеклорез, приближался звук. Крохотная заостренная капля мерцала, вырезая просторную в небе дугу. Завершая дугу, в кварталах рванул красный клубок. Другой, третий. Эхо взрыва качнуло башню. Помчалось мимо в окраины, к мечетям, минаретам и кладбищам.

“Смотри! — грозно звучал приказ в рокоте взрывов. — Стой и смотри!”

Над башней в солнечном трепете шли вертолеты, длиннохвостые, гибкие. Передний клонул стеклянным носом, стал скользить, устремляясь вниз. Остановился на миг. Выпустил черно-красную заостренную коготь, вонзил в небо, и там, куда были направлены острия, на земле плоско грохнуло, окутало белым паром, словно в огне испарилась глина. Частицы несгоревшего праха носило ветром.

— “Смотри!” — гремело из пламени.

— Хорошо ударил “нурсами”! А потом поработал пушкой, — замполит поощрял вертолетчика. — Ну теперь пошли, пошли стрелки! Молодцы!

Два огромных дыма от сброшенных бомб медленно вырастали, пучились, выдавливали из себя другие дымы, принимали форму гриба на кривой ноге, одного великана, огромного, в рыхлой чалме муллы. Медленно растворяли свое темное чрево, распахивали грязно-серые покровы.

Суздальцев наблюдал разрушение города. Был Свидетель сокрушенья Герата.

Комдив был бесстрастен, его неслышные команды отзывались воем реактивных снарядов, сильным рокотом гаубиц, трепетом красных взрывов. Пикировали штурмовики, вгоняя в город железные костыли. Ухали танки, проламывая утлые стены. Действия комдива напоминали математические исчисления, в которых доказывалась абстрактная теорема. В ней не было места страданию и смерти, а только законы чисел. Этот маленький красивый генерал не отождествлял себя с городом, не сопрягал себя с боем. Он был посторонним городу, который разрушал. Завершив разрушение, он бесследно исчезнет, не оставив по себе имени, памяти, уведя назад из азиатских предгорий этих возбужденных людей, заброшенных случаем в древний Герат. Оставят в нем рану, набьют глинобитные стены пулями, и их унесет прочь, как уносило до них другие чужеземные армии.

Но сейчас генерал-математик закладывал числа в прицелы, складывал цифры потерь, проводил циркулем от синей мечети до Мазари Алишер Навои, наполняя округность огнем и дымом.

Суздальцев забыл, почему он здесь. Забыл о ракетах, которые оставались в Деванче под беглым артиллерийским огнем. Он стоял на башне, выполняя приказ Стеклодува, — наблюдал разрушение города. Он должен был запечатлеть и запомнить. Он был наблюдатель, Свидетель.

Площадь перед въездом в Деванчу была изрезана гусеницами.

Гончарная улица была посыпана осколками глины, мелко блестящими гильзами. В куполах зияли черные дыры. Но мечеть уцелела, на ней всё так

же висел зеленый флаг. И дальше, через два дома, в пепельно-серой стене нарядно и сочно синели ворота.

— Водила, шибани по воротам! — крикнул в лок Пятаков.

Машина повернулась на гусеницах, приблизила отточенный нос и ударила в синие створки. Доски хрустнули, и Суздальцев, держа автомат, протиснулся сквозь синие щепки.

Двор был пуст, чисто выметен, будто его не коснулась война. В сарае кудахтали куры, и раздалось мычание. Он бросился на веранду с узорной аркой, пробежал по ковру, распахнул дверь. Комната с коврами на полу, с горой разноцветных подушек была пуста. Только лежала перевернутая детская игрушка — деревянная колясочка, покрашенная лаком. Суздальцев кинулся в соседнюю комнату. Увидел раскиданные половики, вскрытые доски пола и в неглубоком углублении — несколько белых холстин, тех, в которые были обернуты ракеты. “Стингеров” не было, был едва уловимый запах лаков и растревоженный мерцающий воздух, в котором оставался след исчезнувших ракет.

Он чувствовал тоску и беспомощность. Ракеты опять ускользнули, и не ясно, где их искать. В разгромленном городе по тайным проулкам убегали рассеянные отряды моджахедов, ускользали из Герата в соседние горы и кишлаки.

На стене висело зеркало в раме, украшенной лазуритом, зеленой яшмой и ониксом. Он смотрел на зеркало, и в серебряном стекле пробежала легкая рябь, метнулась тень. Он почувствовал страшный удар в затылок и рухнул без памяти.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Он очнулся от боли, и боль эта была длинной, проходила по всей длине тела, от рук к подошвам, и лишь взбухала тупым волдырем в затылке. Он открыл глаза, полные солнечных слез, и понял, что висит с воздетыми руками, и боль была в связанных затекших руках, в набухшем от удара затылке, в неловко подвернутых ногах, криво упиравшихся в пол. Он не узнавал место, в котором находился. Простонал. Он был в плену. Удар в Деванче оглушил его. Он попытался распрямиться, чтобы вес тела равномерно распределился по всем его органам, и множество мелких звенящих иголок вонзилось в него. Он висел под высокой балкой, и ноги его упирались не в землю, а в доски приподнятой над землей галереи. Земля была ниже, — чисто выметенный двор, окруженный постройками, над которыми возвышалась глиняная стена, и за ней виднелось зеленое поле, солнечные розовые горы, к которым выходила в розовой пыли дорога. Над стеной двигалась изогнутая шея и величественная голова верблюда и голова наездника, его борода, крупный нос и чалма. И Суздальцев понял, что находится в кишлаке, и оранжевый цвет, который имели его солнечные слезы, проистекает от плодов инжира, устилавших соседнюю крышу. Совершив свои первые движения, уразумев место, в котором находился, он издал долгий стон. Он был в плену. Он не помнил, как извлекли его из стреляющего города, увезли на машине или перебросили через спину лошади, прежде чем доставили в этот безымянный кишлак. Солнце спускалось к горам, и он решил, что находится западней Герата на большом от него удалении.

Явилась мысль о побеге. Дом, где его подвесили, был на окраине кишлака, и за ним открывалась безлюдная степь. Но руки его были связаны, галерея была замкнутой, с нее вниз вводила лестница, и там виднелась голова в плотной шерстяной шапочке, пышная молодая борода и ствол автомата. Надежда на немедленный побег пропала и оставалась надежда на чудо. Этим чудом могло быть внезапное появление боевых машин пехоты, ворвавшихся в кишлак майора Кюня и комбата Пятакова. Но это было из области чуда, и об этом оставалось молиться, испытывая веру в Творца.

Он услышал голоса. Голова с бородой и ствол автомата исчезли. Раздались шаги по лестнице, ведущей на галерею. И из проема стал вырастать человек.

Приплюснутая афганская шапочка, напоминавшая уложенные одна на другую ржаные лепешки, красное от солнца худое лицо с яркими фиолетовыми глазами, небольшая подковкой борода, отливавшая медью. Человек поднялся на галерею, обнаружив все свое ладное, в вольных одеждах тело. Направился к Суздальцеву, остро, зорко оглядывая его беспомощное тело. Приблизился, встал, чуть улыбался, позволяя Суздальцеву себя разглядеть. И это лицо, красноватая бородка, фиолетовые глаза с яркими белками, показались Суздальцеву знакомы. Но было неясно, где встречался ему незнакомец.

— Прошу прощения, господин Суздальцев, за принесенные вам неудобства. Согласитесь, что вывести вас из города через линию ваших блокпостов, уложить вас в кузов машины и забросать мешками с рисом, — для этого мы должны были вас оглушить. Примите мои извинения, — эти слова человек произнес на фарси, без тени пуштунского диалекта, что выдавало в нем иранца. И это первое полученное о человеке впечатление не заслонило большого изумления Суздальцева — откуда красноротый иранец знает его имя. Документы остались в сейфе командира полка, как того требовало правило, предписывающее офицерам разведки перед выходом на “боевые” не брать с собой документов.

— Позвольте представиться. Полковник иранской разведки Вали. Пусть вас не удивляет моя осведомленность. Наши источники в афганском “ХАДе” позволили узнать о вас многое. Вы — подполковник Генерального штаба. Вы ответственны за перехват партии “стингеров”, отслеживаете их продвижение от самой Кветты. Должен вам сообщить, что я занимаюсь тем же самым. Мы с вами ищем одно и то же, и вопрос, кто первый найдет искомое.

У Суздальцева — обжигающая мысль. Он стал жертвой предательства. Неужели Достагир, черноусый красавец, представитель афганского “ХАДа” — предатель?

Красноротый полковник Вали, казалось, обладал даром читать мысли.

— Не трудитесь вычислить наш “источник”. Мы знали о вас в Кветте. Следили за вами в Лашкаргахе. Не выпускали из виду в расположении 101-го полка.

И Суздальцев вдруг понял, где видел эту красноватую бороду, скользнувшую в ней усмешку, белки быстрых глаз. Когда сидел у обочины гератского шоссе, в облачении рыночного торговца, мимо прокатил велосипедист, развешенная накладка, вильнувший руль, затихающий шелест колес. Он думал, что укрылся под чужой личиной, неузнаваем для чужих глаз. Но чужие глаза разгадали его, усмехнулись над его маскарадом.

— Вам, господин Суздальцев, будет интересно узнать, какая судьба вас ожидает. Я буду честен. После того, как я удовлетворю мое любопытство, а вы поясните некоторые важные для меня вопросы, вас переправят в Иран, в ведение нашей контрразведки. И мои коллеги, используя специальные техники, будут выведывать у вас сведения о структурах ГРУ, имени командиров, операции, которые ваша разведка планирует в направлении Ирана и Афганистана. Но меня это мало интересует. Меня интересует узко-локальный вопрос: где ракеты?

И пока длилось это чуть затянувшееся вступление, мысль Суздальцева продолжала метаться — кто предатель? Быть может, погибший в пустыне Регистан агент Хафиз, оставивший свою тайну пескам? Или все же Достагир, двойной агент? Или Ахрам, погибший на рынке от случайной пули тех, на кого он работал? Но все догадки и подозрения были напрасны и лишены основания. И еще, пока полковник Вали демонстрировал благородство и открытость, Суздальцев искал верной интонации в предстоящем допросе. Можно пытаться лукавить, обмануть, сбить допрос на ложный след. Можно расположить к себе и разжалобить, добиться снисхождения. Можно сдать, пойти на сотрудничество, облегчить свою участь или держаться насмерть, не ломаясь под пыткой, пряча в глубину своей боли и ужаса несгибаемую личность.

— Итак, господин Суздальцев, мой первый вопрос. Где ракеты?

Его смятенный, растерянный разум, сопротивляясь, стремясь уцелеть, настроил его на путь, суливший спасение. Он станет правдиво отвечать на вопросы, на которые полковник Вали знает ответы. Станет отвечать отрица-

тельно, если и в самом деле не знает ответа. И будет притворяться, лукавить, уводить на ложный след, если ответ на вопрос затрагивает боевую информацию.

— Итак, подполковник, где же ракеты?

— Не знаю, — ответил Суздальцев, услышав в своем голосе сдавленный хрип. — Вы могли убедиться, что их нет.

— Вот поэтому я и спрашиваю, куда ваши люди перенесли ракеты?

— Если это мои люди, то ракеты уже находились бы в расположении наших войск, и дальнейший их поиск для вас был бы бессмысленным.

— Логично. И тогда вы бы не явились в Деванчи, продолжая их поиск, и не попали бы в нашу засаду.

— Вы и я, мы заняты одним и тем же делом. Ищем ракеты, которые ускользают от меня и от вас.

Это была неловкая попытка сблизить их интересы, установить между ними согласие, снять роковое противостояние, делающее его, Суздальцева проигравшим пленником, а иранского полковника — удачливым победителем.

Но сближения не случилось. Он по-прежнему относился к нему, как к вместилищу информации, которую станет добывать с помощью известных разведке приемов.

— Что сообщил вам агент Мухаммад перед тем, как его застрелили ваши, мне это крайне важно узнать.

— Не скажу вам больше того, что сказал.

— Мне придется повторить этот вопрос еще несколько раз, прибегая к средствам дознания, характерным для допроса в разведке.

Суздальцев понял, что игра психологий, тонких уловок и фигур умолчания, — эта игра проиграна. И наступает момент, когда разум и трусливая плоть будут истово орать одно, а воля и сокровенная личность станут молчать, обливаясь слезами боли.

Полковник Вали издал цыкающий свистящий звук, каким подзывают собак. На галерею по лестничному проему стали подниматься двое молодых бородачей. Один из них, с расплюснутым провалившимся носом, нес два жестяных ведра с водой и какой-то цветастый пакет. Другой, горбоносый, держал в руках плетку. Суздальцев издал, страшаясь, сверхзоркими от страха глазами видел эту плетку. Эта плетка вдруг превратилась в центр мироздания, вокруг которого вращались окрестные поля, розоватые горы, дорога с несущимся всадником, стоящий краснобородый полковник и его, Суздальцева, беспомощная, страшаясь душа, в которой притаились воспоминания детства, мама с заснеженным меховым воротником, легконогая бабушка, бегущая по переулку. Все это вращалось на разном удалении от плетки, которая сияла подобно светилу в центре мироздания.

И как ни был его разум содрян и испуган, он уловил абсурдное, по законам абсурдной симметрии, совпадение. Два рослых бритоголовых афганца были похожи на двух прапорщиков, помогавших Коню при допросах пленных. Те же стальные плечи, тупо равнодушное выражение лиц, те же ведра с водой. Симметрия мира, которая себя обнаружила, была симметрией воздаяния, симметрией боли и смерти, и это показалось Суздальцеву смешным. Подвешенный на веревке, перед началом истязаний он открыл еще один закон бытия, был открыватель закона.

— Итак, господин Суздальцев, мне надо знать, кто такой Азис Ниалло?

— Не знаю, — ответил Суздальцев, ожидая пытку. Со странным облегчением думал, что информация, которую собирался выбить из него, пленника, в нем отсутствует, и выбивать он будет не отсутствующую информацию, а его сокровенную личность, его ядро, его суть, ломая ее и дробя, чтобы пытка растолкла их в пыль и чтобы больше никогда, останься он жив, никогда не обрели они целостность.

Полковник вновь издал цыкающий посвист. Горбоносый, не выпуская плетку, выхватил нож и узким острием распорол на Суздальцеве куртку, отсек рукава и рванул, сдирая хрустящую ткань. Гольный по пояс, с оставшимися на связанных руках рукавами, он напрягал ребра, чувствуя, как овеает

их ветерок. И еще не зная, как он станет спастись от боли, как сражаться за свою убиваемую сущность, метался мыслью, выкликая спасительные заклинания и образы, спасительные стихи и молитвы.

Полковник кивнул. Горбоносый отвел руку с плетью и с силой ударил, приклеив сыромятный ремень к ребрам, одновременно потянув назад. Страшная боль удара прошла сквозь ребра, сорвала с места сердце и печень, и закупоренные болью легкие не могли сделать выдох, и он висел, задохнувшись, с выпученными глазами, не имея сил крикнуть. Ремень оставил на теле пухлый кровавый рубец, узел сорвал кожу и выдрал кусок мяса, а конская плетка, как бритва, оставила узкий надрез.

— Кто такой Азис Ниалло?

Суздальцев мотнул головой. Новый удар, захлестывая за спину, ослепил его, и он, дыша раскаленной болью, закричал.

— Кто Азис Ниалло?

И прежде чем получить удар хлыста, не рассудком, не памятью, а одним лишь рыдающим голосом, поющим речитативом, бессознательно, извлекая звуки из самых сокровенных глубин, которых не доставал бич, он стал читать стихи Гумилева, не понимая, горят ли они в его обезумевшей памяти, или он выкрикивает их с кровавой слюной.

“Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка...” — Удар, вырывающий клочок плоти, останавливающий сердце. — “Ах, ему так сладко пели воды и завидовали облака...” — Оскал горбоносого лица, взмах плетки в мускулистой руке и оглушающая боль, сквозь глухоту которой он кричал: “Высока была его палатка...”

— Я не понимаю по-русски, — кричал полковник. — Отвечайте нормально. Где Азис Ниалло?

“Знал он муки голода и жажды...” — Плеть наносила на него кровавые кресты. — “Сон тревожный, бесконечный путь...” — Горбоносый размахивался, и становилась видна его подмышка с черными волосами. Удар ложился вдоль позвоночника, нанося вдоль спины кровавую ось симметрии. — “Но святой Георгий тронул дважды пулею не тронутую грудь...”

Суздальцев утратил дар понимать и слышать. Обвис на веревке, чувствуя, как течет по телу липкая горячая кровь, и боль располагается жгучим, меняющим свои формы орнаментом.

Он очнулся от шлепка холодной воды. Безносый афганец плескал на него бережно, осторожно, как тушат горящие дрова. Холодная вода погасила верхний жалящий огонь, оставляя тлеть глубинные на всем теле ожоги.

— Очень жаль, господин Суздальцев, что мы не сумели понять друг друга. Быть может, вы и правда не знаете, кто такой Азис Ниалло. Теперь вам остается ждать, когда за вами приедут и переправят в Иран.

Он повернулся и пошел, уводя за собой двух подручных. Суздальцев остался висеть, глядя, как над горой гаснет заря, и кромки далеких гор похожи на жидкую струйку золота.

У него было время подумать над тем, что случилось. Кто все эти месяцы следил за ним неотступно, разгадывал его планы, срывал операции? Кто навел на его след полковника Вали? Кто устроил засаду в доме с синими воротами? Кто выстроил сложную цепь причин и следствий, состоявших из полетов в пустыню, людских смертей, гонок на боевой машине пехоты, штурма огромного города, кто всё это устроил, чтобы он, Суздальцев, висел теперь на веревке, избитый в кровь, и над ним загоралась первая печальная звезда?

И его вдруг осенила догадка. Не было предательства. Не было внедренного агента. Не было его просчетов и пагубных ошибок. Всею виной Стеклодув. Он построил всю цепь причинно-следственных связей, он заманил его в засаду, он передал его в руки краснобородого полковника, он подверг его истязаниям и оставил висеть под балкой и теперь молчливо смотрит, что же с ним будет. Как он, Суздальцев, станет действовать. Какие стихи стант читать при следующих истязаниях. Какую молитву прочтет в свой смертный час. И это открытие поразило его. Стеклодув был не благ, не человеколю-

бец, он был испытатель, исследователь. Ставил над Суздальцевым опыт, как ставят эксперимент над мышью. И бесполезно его умолять, бесполезно звать на помощь. Он, бесстрастно и молча, созерцает, как он, Суздальцев, засеченный едва ли не насмерть, висит на веревках под печальной звездой Герата.

И от этого ему вдруг стало смешно. Он засмеялся, сотрясая грудь, чувствуя нестерпимую боль — от ударов плетью и от абсурда, в который была погружена его жизнь. Он смотрел на звезду и смеялся громко, хрипло, переходя на клекот, на крик, на удушающие рыдания. И звезда, появляясь сквозь слезы, трепетала над ним.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Он услышал стук лестницы, и в проеме на галерее стала возникать голова, бритоголовая, горбоносая, со свирепыми вывернутыми губами. И в Суздальцеве всё застонало, затрепетало при виде палача, каждая его незажитая рана завопила от предчувствия мук. Горбоносый приблизился, губы его еще больше вывернулись от отвращения. Он достал нож и перерезал веревку. Руки Суздальцева отпали от балки, и он ощутил тупую лому в плечевых суставах, откуда отхлынула застоялая кровь. Горбоносый толкнул Суздальцева вдоль галереи, к невысокой дверце со щеколдой. Отворил дверь и пихнул внутрь. Дверь захлопнулась, щелкнула щеколда, и он остался в длинном узком чулане, сплошь по стенам и полу обмазанном глиной. Только на уровне лица оставалась длинная щель, ограниченная вмурованными в глину корявыми досками. Ни топчана, ни табурета, ни подстилки на полу, только шершавые стены и щель, позволявшая видеть двор, начинающее зеленеть при первых лучах солнца зеленое поле, похожее на выгон, горы, всё еще черные, контурные, с маленьким колючим солнцем.

Грудь, спина, ребра, изорванные плетью, продолжали жгуче болеть, словно на нем была рубашка из крапивы или колючая и жалящая власьяница. Он содрал с рук оторванные рукава и бросил на пол. Хотелось пить, хотелось закутаться в мокрую простыню, чтобы остудить раны. Но воды не было. Он вдруг испытал смертельную тоску, безысходность. Его посадили в этот тесный чулан, чтобы снова пытать и мучить, и его удел умереть под пыткой в этой чужой стране, без помощи, без поддержки, без подбадривающего слова друзей, без молитвы любимой женщины. Весь смысл его жизни, его трудов и познаний, его упований на чудо и его беззаветное служение стране свелось к этой камере, к пыткам и мучительной смерти на дыбе. Тоскуя, не желая смотреть на восход чужого солнца, который мог оказаться его последним восходом, он сел на пол и прислонился к прохладной стене, остужая раны.

Суздальцев в сонной одуре провел целый день. Уже смеркалось, когда он вдруг услышал высокий, пролетающий над кишлаком звук, вибрирующий и свистящий. И через мгновение у гор польхнул красный шар света, озарил далеко степь, и оттуда донесся урчащий гром. Через несколько минут звук повторился. Что-то невидимое, пугающее уныло прогудело, и рядом с первым шаром возник второй, косматый, рвущийся в разные стороны, и глухой удар покатился над степью. Это могла быть гроза у подножья гор с пылающими молниями и рокочущим громом. Но Суздальцев знал, что это летят тактические ракеты из шинданского дивизиона, испепеляя мятежные кишлаки, перед которыми бессильны артиллерия и танки. Третий удар, чуть поодаль, породил оранжевый шар света и следующий за ним угрожающий рык. Там, в невидимых и удаленных селеньях, рвались заряды и воспламенялось несгоревшее топливо, заливая всё жидким морем огня. Кишлак затих, опустился, затаился. Люди укрывшись в жилищах, попрятались в помещениях.

Суздальцеву невыносимо хотелось пить. Губы были шершавые, каменные. Язык казался вырезанным из жести и царапал полость рта. Каждая его клеточка высыхала, рождая страдание, и в этих крохотных пересыхавших озерах иссыхала его жизнь. Тоскуя, ожидая неминуемой смерти если не от пули врага, то от пламени своих ракет, он вытянулся у стены и закрыл глаза.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Он приблизился к дверям и тихонько толкнул. Двери растворились без скрипа. Щеколда, загнутая горбоносом, была откинута. Словно кто-то незримый, быстроногий, бесшумный открыл щеколду.

Двор был пуст, обитатели дома укрылись под хрупкими сводами кровли, боясь удара с небес. Луг за домом туманно темнел. Белесо, чуть видна, удалялась дорога. Суздальцев спустился с галереи во двор, бесшумно приблизился к воротам и наощупь открыл замок. Ворота слабо проскрипели, словно напутствовали его печальным звуком. Никто не окликнул его, никто не погнался. Ему казалось, что его отпускают, наблюдают за ним, чтобы потом настичь. Испытывая страх и надежду, кого-то умоляя спасти его, он кинулся по лугу. Он торопился, почти бежал по дороге, которая стелилась перед ним, словно ее кто-то посыпал мукой. Кишлак, вместилище его страданий и страхов, удалялся, и его зыбкая мгла отступала.

Он уходил по дороге все дальше, и жажда к нему вернулась. Ему казалось, что внутри его горит факел, и он выдыхает сухой кипящий огонь. Он думал о воде, как пьет ее, без конца захлебываясь, как окунает в нее лицо и пускает пузыри. Как ледяная струя попадает в пищевод и желудок и гасит раскаленный факел. Ему казалось, кто-то бежит перед ним в ночи, несет чашу с водой, манит, дразнит, а он не может настичь, видит черное водяное зеркало в чаше, тянется губами, но чашу от него убирают, и он бежит, снедаемый пламенем, не в силах его погасить.

Он испытал слабый толчок, не толчок, а дуновение, которое его колыхнуло. Словно кто-то сдвинул его с дороги, направил стопы в сторону. Будто тот, кто нес чашу, повернул на обочину, покинул дорогу и двинулся степью. Суздальцев уловил это повелевающее дуновение. Перестал чувствовать пыль дороги, и теперь под ногами его шуршала степная целина, царапала ноги стеблями сухой травы, и чаша удалялась и поджидала его, вела его, направляла, муки, которые он испытывал, влекли его прочь от дороги в сторону едва различимых предгорий. “Чаша путеводная”, — повторял он полубезумно.

Ему чудилось, что земля у него под ногами загорается синими огоньками, которые жалят бедра, живот, обугливают губы, ноздри, и сухой, искрящийся огонь вырывается у него изо рта. Он кашлял огнем, плакал огнем, кровавые раны горели на нем, как газовые горелки.

Степь волновалась, он то погружался в низины, то восходил на холмы. Звезд он не видел, всё над ним и в нем и вокруг мерцало горячим пеплом. Чашу от него уносили, и ему казалось, он чувствует запах воды, ловит лицом мельчайшие брызги, слышит, как вода тихо звякает о края чаши.

Он взшел на холм, стоял на вершине качаясь, а потом рухнул плоско, лицом в землю, забываясь не сном, а жарким кошмаром, и ему казалось, всё его тело обложили горчичниками.

Он очнулся от низкого солнца, которое встало из-за холмов. Приоткрыл жестяные, скрипнувшие веки и увидел у подножья холма кишлак. Он испугался, что был весь на виду, был замечен из кишлака, и сейчас оттуда посядут всадники или запылит по степи машина, и он вновь окажется в плену у врагов. Но кишлак был беззвучен. Над ним не струились утренние дымки, не кричал муэдзин, не лаяли собаки. Его вид был странен. Дувалы, стены домов, купола и угловые башни — все были зазубрены, состояли из заострений, проломов, уродливых углов, напоминая челюсть с выбитыми зубами. На земле лежали зубчатые глыбы, а глиняная желтизна стен была покрыта черными пятнами, тусклыми налетами копоти, мазками сажи, словно кишлак был накрыт камуфляжем или задернут маскировочной сеткой. И оттуда, вверх по холму, вместе с утренним ветерком сочилась гарь, тянуло ядовитым газом. И Суздальцев вдруг понял, что перед ним кишлак, в котором вчера ночью взорвалась тактическая ракета, страшный взрыв снес постройки, изглодал стены, и ядовитое топливо расплескало по кишлаку свою плазму. Кишлак обломками напоминал древние города пустынь, на которые произошло нападение, и работу стенобитных машин довершили солнце и ветер.

Кишлак был испепелен, но в нем должна была сохраниться вода. И Суздальцев поднялся, стал спускаться с холма, представляя, как на обугленной улице в солнечном пекле стоит чаша с водой, и он прильнет к ней устами.

Он спустился с холма и вошел в кишлак. Улица, на которую он ступил, была окружена рухнувшими дувалами, и в выломленных дырах виднелись дворы. Кругом лежали комья обгорелого тряпья, разорванные одеяла, подушки, обрывки ковров. Среди тряпья — медная посуда, осколки стекла, валялось окованное медью седло, смятый самовар, переломанная домашняя утварь. Казалось, вихрь, пролетевший по улице, высосал из домов воздух, а вместе с ним скарб разоренных жилищ. Чудилось, по этой улице прокатил громадный мусоровоз, роняя хлам, покрывая землю рыхлыми горелыми во-рохами.

Суздальцев шел дальше и увидел ужасное небывалое зрелище. В глиняную высокую стену была вплавлена хребтом лошадь. Она сидела, и ноги ее были выставлены вперед, словно она продолжала скакать в небо. Копыта ее были обуглены, пахли паленой костью. Часть морды была сожжена, и сквозь распавшиеся губы дико белели зубы, словно лошадь продолжала ржать. Ее живот прогорел, из него вывалились фиолетовые, вспухшие от жара кишки. Он постарался поскорее пройти мимо. На соседней глиняной башне стеклянно блестящее солнце, глина расплавилась, потекла, и башня с одного края казалась глазированной.

Сквозь проломы в стенах виднелись дворы, и дальше виноградники, — ровные ряды черных, узловатых, корявых лоз. И по всему винограднику, зацепившись за лозы, висели женские платья, паранджи, шаровары, накидки, но людей не было видно, словно они превратились в корявые лозы, оставив висеть развешенные одежды. Так проревел, разметал, оплавил кишлак огненный шар света, который Суздальцев наблюдал в ночи накануне. Теперь он искал воду. Забрел во дворы в поисках колодца, в поисках ведер и глиняных сосудов, где могла сохраниться вода. Но огненный шар, пролетев над кишлаком, иссушил колодцы, выпарил воду. И он тупо и без надежды переходил из одного двора в другой.

Он нашел на земле простыню и завернулся в нее, спасая раненое тело от горячего солнца.

Увидел стену, в которой ворота были сорваны с петель. Вошел во двор, заваленный мусором снесенной кровли. Двери дома были выдраны и валялись посреди двора, и он вошел, переходя из комнаты в комнату, по которым промчался огонь. И вдруг в самой дальней, выходявшей окнами в сад, увидел на полу кувшин. Его горловина и ручка были снесены осколком, но на донце сохранилась вода, блестя в выпуклом черепке.

Он шел по холмистой степи, не приближаясь к предгорьям. Его пропитанные глиной брюки высохли, задеревенели. Его голову пекло, а плечи жгло, будто на них набросили горящее покрывало. Но в нем плескалась вода. Глаза стали зоркими. Ум был ясен. И теперь его мучила мысль, куда он идет. Он старался по солнцу определить, где Герат, но не мог сообразить, куда повезли его в плен, западнее или восточнее Герата. Он мысленно представлял карту с названиями кишлаков, с направлением проселочных дорог, которые все вели к главному шоссе, тому, что соединяет пакистанскую Кветту, через Кандагар, Шиндандта и Герат с советской Кушкой. Эта трасса с военными заставами и колоннами могла находиться у самых предгорий. А могла погибать предгорья там, где в туманных холмах сквозили просветы, и могла остаться за спиной, и он с каждым шагом от нее удалялся, приближаясь к иранской границе, туда, где поджидала его иранская контрразведка и краснорободый полковник Вали.

Он встал, обращая лицо в разные стороны света, и везде был солнечный туман, и витала опасность.

Он шел и шел бесконечной степью. Был слаб, спотыкался. Хотелось есть. Голод глодал его, снесал его плоть, и голодная ядовитая слюна жгла гортань. Он жадно искал, что можно было бы жевать. Степь была покры-

та толстой коростой, вся в черных стебельках сгоревшей полыни, у которой не было ни вкуса, ни эфирного запаха. Степь была мертва, без плодов и злаков. В ней не было водоема с плещущей рыбой, не было гнезда с птичьими яйцами, не скакали кузнечики, которыми уголяли голод пророки, не пахло медом диких пчел, услаждавших отшельников. Степь сухо шелестела и мертво поблескивала, словно из нее торчали маленькие блестящие гвозди.

Он сел, чтобы пережить приступ голодного обморока. И увидел у самой земли иссохшие стебельки, усыпанные крохотными оранжевыми плодами. Они были удлиненные, как барбарис, размером с муравьиное яйцо. Он оторвал ягодку и разжевал. Сквозь плотную кожицу на язык брызнула сладковатая капля, выдавилась едва ощутимая мякоть. В сердцевине находилось жесткое семечко, и Суздальцев проглотил его, не разжевывая. Вкус был незнакомый, но дразняще приятный. Суздальцев собрал в ладонь все плоды до единого, ссыпал в рот и жевал, всасывал сок и мякоть, глотал крохотные косточки.

Обобрав один кустик, он стал искать следующий, но не находил подобного среди щетинистых мертвых полыней. Быть может, случайная птица принесла из далеких предгорий одинокое семечко, и оно проросло, одарив его, Суздальцева, своими оранжевыми плодами. Он поблагодарил незнакомую птицу и двинулся дальше.

Он вдруг ощутил странное облегчение, словно исчезла его усталость, и по телу полилась свежая, бодрящая сила. Голова его просветлела, мысли расширились, а вместе с ними расширилась степь, утратила свой стальной беспощадный блеск, стала розоветь, зеленеть, наполняться разноцветными соками, как случается на весенних опушках, когда кусты, разбуженные теплом, еще без листьев, наполняются алыми, малиновыми, золотыми и изумрудными соками, сияют среди последних снегов.

Ему стало вдруг хорошо и весело. Хорошо потому, что исчезли горечь во рту и боль в ранах, а весело потому, что он стал невесом, шел, не касаясь земли, отталкиваясь, висел и парил в воздухе, и ему хотелось плавно перевернуться, как космонавту.

Он вдруг понял, что не один. Еще не знал, кто находится близко, но присутствие живого, неопасного, а, напротив, благоволящего ему существа он ощущал.

Внезапно это существо появилось. Это была высокая женщина, смуглая, почти черная, босоногая, что грациозно ступала впереди него и оглядывалась, словно подзывала. У нее были большие, округлые, с яркими белками глаза, полные губы, худая стройная шея, на которой небольшая темноликая голова казалась выточенной из черного дерева. Так выглядели эфиопские женщины у храма в Лалибелле, куда его однажды занесла судьба. Или африканские маски, одну из которых он купил в Дакаре. Но она могла быть древней египтянкой, ибо в ее мелких темных кудряшках красовался пернатый, из раскрашенных перьев убор, делающий ее похожей на птицу.

Он обрадовался ее появлению. Был счастлив, что теперь не один. Хотел приблизиться, заговорить, но боялся ее спугнуть. Она не пугалась, оглядывалась, показывая в улыбке белые зубы, ее босые ноги и тонкие щиколотки мелькали из-под подола долгополого, с цветочным узором платья. Он заметил, что у нее на груди маленькая бирюзовая брошка, которую носила девушка, считавшаяся его невестой. Это и впрямь была она, с тем знакомым выражением зеленых таинственных глаз, которые он так любил целовать. Он хотел подойти и спросить, как она очутилась в этой афганской степи, ничуть не состарившись за эти годы, но она вдруг превратилась в жену, молодую, млечную, с ярким румянцем и влюбленными в него обожающими глазами, когда они уехали в свадебное путешествие на Белое море, и волны звонко били в ладью, на днище лежала яркая, как зеркало, семга, и жена была уже беременна сыном. Сын чувствовал окружающую их водную синь, низкий полет уток, эту серебряную рыбину и ту любовь, в которой он родился.

Жена повернулась, чтобы проследить низкий полет гагары, а когда снова он увидел ее лицо, то это была мама, молодая, та, с которой они гуляли

по усадьбе Кусково; она рассказывала ему о русских царицах, и на гладком пруду длился, мерцал след проплывшего лебедя. Было счастье увидеть маму, счастье убедиться, что она по-прежнему молода и прекрасна, с гранатовым колье, которое надевала в дни семейных торжеств. И он хотел подойти поцеловать ее руки, рассказать ей, что всё у него хорошо, он жив и здоров, и она по-прежнему самый драгоценный для него человек.

Но мамино лицо слегка изменилось, и она превратилась в бабушку, не ту маленькую, с седой головой и в мелких лучистых морщинках, среди которых сияли ее дивные карие глаза, а в тонкую барышню в кружевной блузке, с высокой прической и печальным взглядом, словно она предвидела всю предстоящую жизнь, войны, гонения и ссылки, разметавшие огромную семью по острогам, заморским странам, где они чахли порознь, исчезая безвестно. Такой, молодой и печальной, он помнил бабушку на фотографии в семейном альбоме, который любил перелистывать, созерцая строгие и прекрасные лики предков.

Было такое счастье, что бабушка жива, и ее не увозил катафалк тем тумным морозным днем, когда на проводы сошлись остатки большой семьи с немногочисленными, продолжающими род Суздальцева отпрысками...

Неведомая сила вывела его к одиноко стоящей в степи молельне, с полубовалившимся входом и наклоненным на кровле полумесяцем. Он вошел в теплую тень обветшалой мечети. Увидел престол с какой-то растрепанной книгой, какой-то флакончик с отблеском зеленого солнца. И рухнул на каменные плиты молельни, чтобы больше никогда не очнуться.

Он очнулся от неясного гула. Где-то рядом рокотал мотор с перебоями выхлопов. Раздавались голоса, звяк железа. Кто-то приподнял ему голову, отер лицо влажной материей. Суздальцев открыл глаза. Над ним склонился майор Конь, его лысый череп, белесые усы, голубые навывкате глаза, в которых была радость.

— Подполковник, ты жив! Петр Андреевич, милый ты мой человек, как же ты их нашел? Ты самый великий разведчик.

Суздальцев приподнялся. Комбат Пятаков склонился над развороченным полом мечети. Саперы с миноискателем исследовали ветхие стены, а из ямы, среди раздвинутых плит, солдаты извлекали ракеты, — цилиндры, завернутые в белые холсты, и несли их к боевой машине пехоты, рокотавшей у выхода.

— Как же ты их отыскал, Андреич, мой дорогой!

Суздальцев не удивлялся находке, был равнодушен к ней. Смотрел на проем мечети, в котором сияла степь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Генерал военной разведки Петр Андреевич Суздальцев с тех пор, как ослеп, почти не покидал своей загородной дачи. Работница помогала ему садиться за стол, перемещаться по дому, стелила постель. Он вполне освоил пространство дома и мог спускаться, держась за перила, со второго этажа на первый, ощупывал пальцами корешки книг, не снимая их с полки. Прикасался к чучелам никарагуанских крокодилов, кампучийскому ритуальному бубенчику, к черным полированным африканским скульптурам. Но больше всего он любил держать в руках вазу из гератского стекла, вспоминая ее зеленоватую, как морская вода, синеву, застывшие в лазури пузырьки воздуха, тонкие нити внутри стекла.

Его навещали бывшая жена и дети, приводили с собой внуков, надеясь, что те растормошат, позабавят слепца. Он позволял себя развлекать, сажал на колени внуков, был доволен, когда все уезжали, оставляя его одного. Садился в кресло перед письменным столом, клал пальцы на кромки гератской вазы и ждал. То ли звука, то ли света, которые были где-то над ним, замерли и не приближались.

Его несколько раз возили в клинику, и врачи снова подставляли его слепые глаза под пронзающие лучи лазера, закатывали в глазницы оранжевые

солнца, которые он не видел, как не видел компьютерные оттиски, где сосуды глаза казались дельтой реки, снятой из космоса, а разрушенная сетчатка была похожа на красно-зеленый медный слиток, обожженный огнем. Но этого он не видел. Возвращался домой к своей вазе. Слушал ее, как слушают раковину, но среди гула боев, шелеста песка, криков муэдзина старался уловить иной звук, тихую поступь Того, кого называл Стеклодувом.

Жизнь его была прожита. Родина, которой служил, исчезла. Новые люди, казавшиеся ему мелкими и ничтожными, управляли страной. Морочили головы, говорили без умолку, бессмысленные и тщеславные. Он знал, что Россию, как оглушенную корову на бойню, вновь толкают в Афганистан. Уже летят над Сибирью американские “Геркулесы” с военным снаряжением, уже готовят вертолеты для отправки в Кабул, специалисты под видом инженеров работают в туннелях Саланга, и быть может, снова русские батальоны пересекут границу под Кушкой и маршевыми колоннами пойдут на Кандагар и Герат. Но это будет чужая война, за чужие цели, и русские солдаты станут гибнуть без доблести и погребаться без почести. Но всё это его уже не касалось. Он повернулся спиной к прожитой жизни, а слепыми глазами был обращен туда, откуда ожидал волшебного звука и света.

И они пришли, сначала — чуть слышный звон, как будто мотылек бился крыльями о стекло. А потом нежный лазурный всплеск, исходящий из самой глубины его потемневших глазниц.

Ему показалось, что гератская ваза у него под руками начинает увеличиваться, расширяться, наполняется лучистой синью, переливается голубым и зеленым. Ваза продолжала расти, и теперь он находился внутри голубого сосуда, который раскрывался, как огромный синий цветок. В этом сосуде находился его дом, и город, и вся земля, а он расширялся, становясь голубой Вселенной, где планеты и солнца сверкали, как драгоценные пузырьки. Чьето могучее дыхание расширяло сосуд, и он пел, струился музыкой сфер, и это была музыка о его прожитой жизни. Он увидел, как сгущается синева, и в густой, достигающей черноты лазури разгорается белая точка. Она раскалялась, становилась нестерпимо сияющей, была выходом за пределы сосуда, где бушевала бесцветная плазма, и это был Стеклодув, и он звал к себе Суздальцева, окружая бесконечной любовью. Суздальцев легонько подпрыгнул, повис в синеве, как космонавт в невесомости, принял позу, которую занимал в чреве матери, и таким полетел к Стеклодуву.